

литературное
ОВО
обозрение

№ 25 (1997)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Редакция

Ирина Прохорова (главный редактор)
Сергей Козлов (теория)
Сергей Панов (история)
Татьяна Михайловская (практика)
Абрам Рейтблат (библиография)

Редколлегия

Константин Азадовский (Петербург)
Хенрик Баран (Олбани, Нью-Йорк)
Галина Белая (Москва)
Николай Богомолов (Москва)
Вадим Вацуро (Петербург)
Михаил Гаспаров (Москва)
Александр Жолковский (Лос-Анджелес)
Андрей Зорин (Москва)
Ларс Клеберг (Стокгольм)
Александр Лавров (Петербург)
Джон Малмстад (Кембридж, Массачусетс)
Александр Осповат (Москва / Лос-Анджелес)
Омри Ронен (Анн Арбор, Мичиган)
Игорь Смирнов (Констанц / Мюнхен)
Роман Тименчик (Иерусалим)
Евгений Тоддес (Рига)
Александр Чудаков (Москва)
Михаил Ямпольский (Нью-Йорк)



МОСКВА

Виктор Живов

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ БИОГРАФИИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ТРЕДИАКОВСКИЙ, ЛОМОНОСОВ, СУМАРОКОВ

*Борису Андреевичу Успенскому
к его шестидесятилетию*

Возникновение профессионального статуса литератора случается тогда, когда появляется книжный рынок. Именно тогда литературный труд оказывается — вернее, может оказаться — источником постоянного дохода. Во Франции данная ситуация складывается уже в начале XVIII в., в Германии и Англии — в середине этого же столетия (ср.: Коллинз 1928). Россия в этом отношении отстает существенно, почти на целый век (см.: Гриц, Тренин, Никитин 1929; Мейнье 1966). В 1830 г. А.С.Пушкин писал А.Х.Бенкердорфу: «10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности: читателей было еще мало; книжная торговля ограничивалась переводами кой каких романов и перепечатанием сонников и песенников» (Пушкин, X, 497; ср.: Благой 1931, 34—47). Таким образом, появление профессионального статуса литератора датируется 1820-ми годами, и лишь позднее, в середине XIX в., на этой основе образуются корпоративные институты писателей и литературная деятельность становится профессией в полном объеме этого понятия.

Несмотря на свидетельство Пушкина, неверно было бы думать, что литературная деятельность XVIII — начала XIX вв. была непременно дилетантской, была лишь «благородным упражнением», не сообщавшим никакого социального положения. Профессией литература не была, поскольку в XVIII в. в России вообще не приходится говорить о профессиях как институтах, определяющих независимую от государства социальную организацию общества. Господство государственной регламентации над профессиональной остается абсолютным, набор профессий и распределение населения по родам занятий оказывается предметом государственного контроля еще в большей степени, чем в предшествующее столетие¹. Литература как род занятий государством, понятно, не предусматривается, по крайней мере до 1760-х годов она в этом качестве не осознается и обществом. Во всяком случае до этого времени не существует никаких не только государственных, но и общественных институтов, организующих литературу и делающих литературные занятия частью социальной жизни.

В этом смысле процесс профессионализации литературы в России развивался на совершенно ином фоне, чем в Западной Европе. Там литература приобретает социальный статус задолго до того, как она становится профессией, оказываясь важным компонентом *modus vivendi* социальной элиты. Этот статус литературы закрепляется в институциональных формах —

таких, как литературные академии, читательские общества, литературные салоны и т. д. Уже в XVII в. эти институции отделяются от ученых обществ гуманистического типа и вместе с тем становятся предметом апроприации со стороны государства, осознающего, как из этого следует, их социальную роль и стремящегося обзавестись собственными или находящимися под их контролем литературными институциями (имею в виду устройство Французской академии во Франции или Fruchtbringenden Gesellschaft в Германии — см.: Виала 1985; Бирхер и Инген 1978; Гарбер 1983). В России литературные институции полностью отсутствуют вплоть до 1760-х годов (за одним не меняющим общей картины исключением, о котором будет сказано ниже), ни социальной, ни политической функции литература не имеет, и поэтому борьба за социальный (пусть еще не профессиональный) статус оказывается неизбежным спутником литературной деятельности.

Хотя литературные занятия не были профессией в позднейшем понимании этой категории, они могли быть основой социального успеха, как мы это видим в случае Г.Державина, В.Петрова или И.Дмитриева. Они не приносили регулярного дохода, но способствовали продвижению в обществе, обращали на автора внимание двора, а это внимание в свой черед обеспечивало службу (порой номинальную), чин и доход. «Благородное упражнение» было социально мотивированным, так что можно говорить если не о литературной профессии, то о литературной карьере². Появление такой возможности было в России новизной еще в середине XVIII в., но с 1760-х годов эта возможность отчетливо осознается и неоднократно используется. В этот период сравнительно с предшествующим общество существенно меняется. У литературы появляется не только заказчик в лице благодетельствующего двора, но и читатель, пусть в количественном отношении и не слишком многочисленный. Как замечает Г.Маркер, «the intellectual world of the 1760s and 1770s looked very different from the world of 1740s [...] [I]deas, politics, mentalities, and professional activity had not changed very much [...] There simply were many more laymen — both gentry and nongentry — coming out of secondary school and engaging in intellectual activity in the 1760s than there had ever been before» (Маркер 1985, 70—71). В это же время появляются и первые, поначалу не слишком выразительные литературные институции, такие как Вольное российское собрание при Московском университете, Собрание старающегося о переводе иностранных книг и, наконец, Российская академия. Устройство последних двух институций было в существенной степени инициативой Екатерины и тем самым означало признание социальной роли литературы со стороны государства. Само участие Екатерины в литературной деятельности вводило в игру понятие литературы как государственного занятия и делало признание ее в этом качестве обязанностью сына отечества. Такое признание, в свой черед, создавало возможности для литературной карьеры; именно ими и воспользовались Державин, Петров и многие их современники.

Путь к этому новому состоянию словесности был проложен в 1730—1760-е годы трудами отцов новой русской литературы, преобразовавших ее по современным европейским образцам и потому считавших себя ее создателями. Им приходилось начинать на пустом месте. В качестве исходного материала у них не было ни подготовленной читательской публики, ни каких-либо гуманистических институций, в которых литература зани-

мала хотя бы скромное, но определенное место. Какое-то подобие такого рода институций можно было бы найти в духовных школах, но новая литература утверждала себя как литература секулярная, как плод петровской секуляризации, и потому у церковных стен делать ей было нечего. Какие бы европейские роли ни придумывали себе Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков, общество имело об этих ролях лишь смутное представление и потребности в них не осознавало. Таким образом, им приходилось не только строить свою карьеру, но и создавать те социальные условия, в которых избранный ими путь имел бы право на существование. В силу этого в их судьбе социальное творчество играло не менее важную роль, чем творчество собственно литературное. В этот начальный период два данных вида творчества переплетаются настолько плотно, что не могут быть поняты один без другого.

Предыстория делает объяснимыми особенности этой ситуации. В древней Руси литературы как особой категории письменности, выполняющей прежде всего эстетические функции, не было (ср.: Зеemann 1987). Она появляется в России лишь в середине XVII в., когда светская культура эмансипируется от духовной и у социальной элиты возникает потребность в текстах нецерковного характера. Тогда появляется придворный театр, равно как и придворные литераторы — поначалу, впрочем, представленные лишь одним лицом — Симеоном Полоцким. Для Симеона создание литературных текстов было хотя и не единственным, но постоянным и закрепленным за ним занятием (ср.: Панченко 1973, 161–166). Симеон в начинающей новую жизнь Москве был уникальной фигурой. Оставаясь в течение многих лет чуть ли не единственным представителем элитарной европеизированной культуры, он поневоле был мастером на все руки: и придворным поэтом-панегиристом, и придворным астрологом, и наставником царских детей, и ученым монахом-эрудитом, читавшим проповеди и писавшим богословские трактаты. Для Европы XVII в. такое совмещение функций несколько архаично, так что Симеон реализует не один, а сразу несколько европейских образцов (придворного поэта, придворного проповедника и т. д.), однако литературная деятельность обладает в этом наборе вполне определенным местом, и это означает утверждение литературы как одного из занятий, нужных для «культурного обслуживания» двора.

Хотя Симеон и выступает поначалу почти в полном одиночестве, но само его появление конституирует категорию автора. Процесс в данном случае был существенно более радикальным, чем то перераспределение функций авторства, которое М.Фуко предполагает для Западной Европы в начале нового времени. Согласно Фуко, в период, предшествовавший новому времени, авторства (т. е. соотношения с лицом, дающим имя определенному набору текстов) требовали те тексты, которые мы сейчас классифицируем как научные, тогда как тексты «литературные» могли существовать в качестве анонимных; в начале нового времени отношение к авторству «научных» и «литературных» текстов меняется на прямо противоположное (Фуко 1996, 23–25). Даже если авторство и не было необходимым элементом восприятия литературы, в Западной Европе оно не было чуждо такому восприятию. Принцип *imitatio* предполагал существование классических авторов, и с определенным набором биографических характеристик (литературной личностью) классическое авторство обычно соотносилось. В Московской Руси категория литературной личности определено

отсутствует. Поэтому Симеон вводит в обиход саму категорию авторства и хотя бы и в ограниченной степени, но становится литературной личностью, обладающей литературной биографией. Понятие литературы переживает реконцептуализацию, и в рамках этой реконцептуализации появляется автор, тексты которого начинают восприниматься как составляющие «истории творчества»; поначалу такое восприятие может быть очень ограниченным и в социальном, и в интеллектуальном плане, т. е. быть свойственным лишь узкому элитарному кругу и распространяться лишь на ограниченный набор видов творчества (типов текста)³.

У Симеона были преемники, наследовавшие его литературский статус (Сильвестр Медведев при дворе Софьи Алексеевны, Карион Истомина), однако длительного продолжения эта традиция не имела. В царствование Петра Великого литературная деятельность вновь перестает быть отдельной социальной ролью. Новые литературные тексты создаются: панегирики, полемические трактаты, пьесы для театра, исторические повествования. Их создание, однако, всегда выступает как добавочное занятие, как отдельные поручения, выполняемые лицами, в основном занятыми чем-то иным: епископами, дипломатами, чиновниками, преподавателями духовных школ, работниками печатного двора. Это возвращение к старой («древнерусской») ситуации, видимо, не случайно. Эстетическая установка вновь становится вторичной, подчиненной, и на первый план выходит дидактическая функция литературных текстов. В условиях петровской культурной реформы, воплощавшейся в последовательной и массовой индоктринации общества, меняется *Sitz im Leben* этих текстов: они перестают быть развлечением для узкого придворного круга (ценившего их как эстетический объект) и делаются средством перевоспитания дворянского общества. Как раньше учились жить по-христиански, слушая жития святых, так теперь учатся жить «по-европейски», читая «Юности честное зерцало» или посещая театр (ср.: Лотман 1985). Светская литература обретает отдельную жизнь в XVII в., но в правление Петра она получает такое же внеэстетическое задание, которое раньше характеризовало литературу духовную. Поскольку литература поставлена на службу политике, в специальных агентах она не нуждается. Изготовление литературных текстов становится одним из служебных поручений и достается то одному, то другому лицу из окружения царя — наряду с составлением указов, строительством триумфальных ворот или устройством шутовских церемоний; для такой службы достаточно грамотности.

Можно сказать, что в Петровскую эпоху находит разрешение тот «великий парадокс», который Р.Хелли приписывает XVII в., — «that the trajectories of society and high culture (and especially literature) were in opposite directions, the one towards governmentally directed conformity and the other toward individualism» (Хелли 1995, 126—127). Появление категории автора в XVII в. — один из моментов развития индивидуального начала в культуре этого времени, как раз в тот период, когда стратификация общества не оставляет места для социального самоопределения и статус литератора оказывается в очевидном противоречии с жесткой сеткой социальных групп, имеющих наследуемый характер и исключают социальную мобильность. При Петре это противоречие разрешается: функции литератора переходят к государственному агенту, так что даже тот призрачный статус, который он приобрел в предшествующие царствования, растворяется в потоке государственной регламентации царя-преобразователя.

В результате в послепетровскую эпоху новому поколению литературных деятелей приходится все начинать заново. Плодом петровских преобразований было новое самосознание российской элиты: для нее Россия сделалась частью Европы, европейским государством в кругу иных европейских государств. Сходство, однако, было неполным — не по существу (от этого мы можем сейчас отвлечься), а в той данности, которая была очевидна новоявленным российским европейцам. Одним из явных несходств было отсутствие национальной литературы, такой литературы, принципы построения которой соответствовали бы принятым во Франции, Германии, Италии или Англии, которая была бы особым культурным кодом и выполняла бы такие же социальные функции, как и в этих странах. Создание подобной литературы могло восприниматься как необходимое продолжение петровских преобразований, как отдельное призвание, требующее своих специальных исполнителей. Поскольку делом этих исполнителей было превращение России в европейскую державу, оно должно было обладать социальным престижем и создавать общественное положение.

Поначалу эту миссию примеривает себе Антиох Кантемир. В конце 1720-х годов он знакомится с французскими образцами литературной деятельности, переводит Буало, пишет сатиры и пытается сочинить героическую поэму. Ему, однако, не суждено было сделать настоящую литературную карьеру. Оказавшись одним из главных участников событий 1730 г., когда Анна Иоанновна, отказавшись от «кондиций» верховников, взошла на престол самодержавной императрицей, Кантемир был отправлен российским послом сначала в Лондон, а затем в Париж. Было ли это почетной ссылкой или справедливой расплатой за оказанные услуги (для нас это сейчас безразлично), в любом случае судьба Кантемира была решена, и в социальном плане его литературные занятия остались «благородными упражнениями» дипломата, не имевшими прямого отношения к его роли в обществе. Впрочем, социальный статус был обеспечен для Кантемира его происхождением, так что, если бы даже литература сделалась его основным занятием, это лишь демонстрировало бы новую социальную значимость литературы, но не возникновение статуса писателя как особой социальной роли.

ТРЕДИАКОВСКИЙ

Борьбу за утверждение социальной роли писателя начинает Тредиаковский, начинает, возможно, именно потому, что его подталкивала к этому социальная деадаптация. Тредиаковский родился в провинции, в Астрахани, в семье священника, и в обычном случае это предопределяло дальнейший ход жизни: сын наследовал место отца. Случай Тредиаковского был необычным. Тредиаковский учился в Астрахани в латинской школе у капуцинов, потом женился и мог бы пойти по стопам отца, но принял иное решение: в 1723 г., бросив жену и отца (через пять лет они умерли, и он их больше никогда не видел), Тредиаковский, как он сам писал позднее, «по охоте... к учению, оставил природный город, дом, и родителей, и убежал в Москву» (Пекарский 1865, 30) и поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию (Шишкин 1984). Что его побудило к побегу — стремление к знаниям (о том, что оно было, как-то свидетельствует переписанная им в 1721 г. грамматика Афанасия Пузины 1638 г.⁴), врожден-

ный авантюризм или виды на него католиков, заботившихся о его продвижении (как предполагают Б.А.Успенский и А.Б.Шишкин — 1990, 130), — остается неясным. В любом случае от стандартной в его положении карьеры он отказался, и это, несомненно, означало шаг к социальной деадаптации и вместе с тем к социальному эксперименту. Следующий и еще больший шаг в том же направлении Тредиаковский совершил, когда в 1726 г. «бежал» еще дальше — в Голландию, а затем в Париж.

Из Франции Тредиаковский вернулся в 1730 г. неизвестно кем, заручившись, впрочем, покровительством влиятельного кн. А.Б.Куракина, однако без всякого признанного обществом статуса. Эта неясность положения побудила его определиться студентом в Академический университет, существовавший, однако, лишь номинально (в нем были профессоры, но практически не было студентов). В этой ситуации Тредиаковский и предпринимает в том же 1730 г. попытку усвоить себе статус литератора. Он издает сделанный им в Гамбурге перевод французского галантного романа П.Тальманна «Езда в остров любви», присовокупив к нему собственные «Стихи на разные случаи». Книгу — первый изданный в России и порусски роман (ср.: Карлинский 1963) — стремительно раскупали, и Тредиаковский был открыт своим успехом. В начале января 1731 г. он писал И.Д.Шумахеру, начальнику канцелярии Академии наук: «*Tout le monde de bon goût veut l'avoir avec rapidité. J'espère que j'aurai l'honneur d'être présenté à sa majesté imperiale. Vous aurez la bonté de m'envoyer encore incessamment 150 exemplaires*» (Письма рус. писателей, 44). К концу этого же месяца Тредиаковский говорит уже не только об успехе книги, но и ее автора: «*Je puis dire véritablement que mon livre devint ici à la mode, et par malheur ou bien par bonheur moi aussi avec lui*» (там же, 47). Успех был, успех совершенно необычный для России, но принятых способов воспользоваться этим успехом не существовало. Сам феномен литературного успеха в глазах части общества был предсудительной новинкой. Среди недоброжелателей Тредиаковский отмечает тех, которые «*me donnent le nom de vain, parce que j'ai fait par là sonner trompette de moi, et que cela est, disent-ils, d'un homme prévenu en sa faveur qui expose sa vanité au public*» (там же, 45).

Итак, молодой и полный амбиций Тредиаковский, вернувшись из Парижа, начинает с эпатуирующего самоутверждения, которое сразу же превращает его из мало кому интересного провинциального поповича в центр общественного внимания (об эпатуирующем характере перевода см.: Топоров 1996, 617—621). Какими примерами мог он при этом вдохновляться? Парижская предыстория побуждает искать их во Франции, в которой литературный успех открывал путь в общество и одновременно обеспечивал благосостояние. Тредиаковский мог, например, припоминать судьбу Венсана Вуатюра, сына виноторговца из Амьена, окруженного почитанием в салоне маркизы Рамбуэй, безбедно существовавшего на пенсии Людовика XIII и Гастона Орлеанского и ставшего членом Французской академии с момента ее основания. Во французской проекции социальную стратегию Тредиаковского в первое время после его возвращения в России можно определить как «стратегию удачи» (la «stratégie du succès» — см.: Виала 1985, 184—185; настоящий номер НЛО, 21—22). Эта стратегия предполагает (вернее, предполагала во французской литературной ситуации XVII — начала XVIII в.) быстрый успех у широкой читающей публики, который затем обращается в литературный статус (например, членство в престиж-

ных литературных институциях) и одновременно в статус социальный (на пример, в королевскую пенсию, государственную должность или бенефицию, наконец, в получение дворянства).

С этой стратегией можно связать и выбор жанра для вступления на литературную арену. Чтобы добиться быстрого и решительного успеха, амбициозный автор должен был предложить публике нечто относительно новое и модное в жанровом отношении. Так начинали Корнель и Расин, выбравшие трагедию, Жорж де Скюдери, прославившийся романами и театром, Скаррон и Сент-Аман, вошедшие в моду вместе с модным бурлеском и другими нетрадиционными поэтическими формами (Виала 1985, 221 сл.). Для того чтобы принести блистательный успех, первое предприятие должно было быть авантюрой. Третьяковский выбирает роман, возможно просто следуя французской моде. Правдоподобно, впрочем, что он рассчитывал на русские условия, в которых галантный роман был абсолютной новинкой, однако же, как Третьяковский мог сообразить, новинкой долгожданной, поскольку рыцарские романы — Бову и Петра златых ключей — переписывали и читали уже целое столетие: если публику могли привлекать такие безнадежно обветшавшие на взгляд юного европейца завабы, восторженный прием для «Езды» был обеспечен⁵. Как бы то ни было, этот тактический ход оказался удачным, славы Третьяковский добился. Проблема теперь была в том, как эту славу обратить в социальный статус⁶.

В России не было ни Французской академии, куда могли бы избрать Третьяковского, ни выплачиваемых литераторам пенсий, ни даже литературных гонораров, которые давали бы если не положение, то деньги (прославленные французские авторы уже в XVII в. обеспечивали литературным трудом свое благосостояние). Единственной культурной институцией в России была в это время Академия наук, прямого отношения к литературе тогда не имевшая. В ней Третьяковский состоял студентом, но это было достижением явно недостаточным. Сам по себе литературный успех продвижения в Академии обеспечить не мог: немецкие академики по-русски не читали и галантными романами в русском переводе не интересовались. Нужно было найти иных ценителей, которые позаботились бы о превращении литературного успеха в социальный успех. Новоявленных удачников производили только при дворе, так что единственным источником продвижения для Третьяковского могли быть «щедроты» императрицы. Их поисками Третьяковскому и приходится заняться⁷.

Галантный роман мог принести известность (с оттенком скандальности), но не милость двора, в привычки которого поддержка литераторов отнюдь не входила. При русском дворе цениться мог лишь один вид литературы — панегирический. Нельзя сказать, что панегирическая поэзия к 1730-м годам уже была здесь устойчивой традицией, но у нее, по крайней мере, были прецеденты: от Симеона Полоцкого и вплоть до кантов, сочинявшихся учениками Спасских школ (Славяно-греко-латинской академии) (Позднеев 1961). Панегирическая литература получала признание и в виде придворной торжественной проповеди. В 1732 г. Третьяковский пишет (и, видимо, произносит) приветственную речь и стихи на торжественный въезд Анны Иоанновны в Петербург (тогда же изданные отдельной книжкой: «Панегирик, или Слово похвальное всемилостивейшей государыне императрице самодержице всероссийской Анне Иоанновне». СПб., 1732); в это

же время сочиняет он и приветственные стихи Екатерине Иоанновне, сестре Анны. Хотя европейский поэтический опыт Тредиаковского отразился в мотивике и поэтике этих стихов, столь же заметна в них и традиция русской панегирической силлабики⁸. Претендуя на роль покровительствуемого двором поэта, Тредиаковский, поскольку возможно, идет уже проложенным путем.

Говоря о «Панегирике», стоит упомянуть следующее любопытное обстоятельство. Тредиаковский «Панегирик» рассылал, и адресатами были влиятельные аннинские вельможи. Сохранилось письмо Тредиаковского графу С.А.Салтыкову от 20 декабря 1732 г., которым молодой литератор сопроводил посылку своего творения. Оно замечательно и по своей риторике, и по тем культурным пресуппозициям, которые в нем запечатлелись. «Не сомневаюсь, — пишет Тредиаковский, — чтоб дерзновение, которое я принял ваше превосходительство сею утрудить посылкою не показалось вам диковато; однако уповаю, что и прощения достойно, потому что содержит сия книжка похвалы ея императорскаго величества, что всякому верному подданному всегда сладко слышать. С другой стороны, заслуга и достоинство вашего превосходительства то чинит, что должно мне стало показать, хотя чрез сие, глубочайшее почтение, которое я имею к вашему превосходительству. Счастливы бы я мог назваться, ежелиб самолично оное вашему превосходительству удостоился засвидетельствовать» (Забелин 1858, 555–556). Итак, Тредиаковский рассылает изданное им сочинение, что было бы вполне обычным делом во Франции; в русских условиях, однако, это было новинкой, и Тредиаковский это вполне понимает, предполагая, что Салтыкову присылка «Панегирика» покажется «диковата». Тредиаковский, таким образом, насаждает новые нравы — создает тот контекст, в котором литературная деятельность входит в социальные навыки общества. Насколько широко пользовался Тредиаковский этим приемом, сколь многочисленны были адресаты и какова была их реакция, остается неизвестным. Известно, однако, что Салтыков ответил благодарственной запиской, а своему сыну, жившему в Петербурге, отправил письмо с вопросом: «Когда он, Тредиаковский, такая ж книжки подавал тамошним кавалерам, то дарили-ль его чем или нет, и буде дарили, то что надлежит — и ты его подари что надобно...» (Пекарский, II, 33). Ясно, что Салтыков реагирует на присылку «Панегирика» как на европейское новшество и спешит узнать, как с этим новшеством поступают. Именно на такую реакцию и рассчитывает Тредиаковский.

Поиски социальной роли принимают вполне ясные очертания, когда в 1734 г. Тредиаковский пишет и издает «Оду торжественную о сдаче города Гданска». Ода (и сопровождающее ее «Рассуждение о оде во обще») была напечатана с параллельным немецким стихотворным переводом Г.Ф.Юнкера, которому Тредиаковский расточает похвалы и в «Рассуждении», и в появившемся через год «Новом и кратком способе». Как показал Л. В. Пумпянский (1937), Юнкер, а вместе с тем и традиции немецкой школы разума были тем образцом, который определял в эти годы литературную позицию Тредиаковского. Хотя непосредственным подтекстом для оды Тредиаковского была ода на взятие Намюра Буало (Живов 1996, 251–256), сам выбор жанра и сопутствовавший ему отказ от панегирической традиции силлабиков указывают на немецкий источник инспирации. Этот же источник, хотя и воспринятый критически, виден и в стихотвор-

ной реформе Тредиаковского 1735 г. (Клейн 1995, 22–35). Можно не сомневаться, что если немцы сделались для Тредиаковского наставниками литературного вкуса, то еще в большей степени они стали в это время его путеводной звездой в литературной карьере. Для этого у них были все основания. Благодаря редкому изобилию немецких дворов придворный поэт был в Германии почти что массовой профессией. Кениг и Бессер, которых упоминает Тредиаковский в «Послании Аполлину», были придворными поэтами, равно как Готтшед и Бок, которых Тредиаковский по разным причинам не называет. В этом качестве прибывает в 1731 г. в Петербург и Юнкер. Как замечает Пумпянский (1983, 5), «Петербург для них [немецких литераторов] — это Дрезден или Вена», и они приезжают туда со «сложившимися навыками социально-бытового поведения» как специалисты «в обслуживании двора». В 1733 г. Юнкер пишет три панегирические оды, и не вызывает сомнения, что в 1734 г. Тредиаковский, которого Юнкер — опять Юнкер — в виде дружеской услуги переводит, вступает на этот же исхоженный немцами путь. При русском дворе наряду с немецким придворным поэтом естественно было быть и поэту русскому.

Немецкая модель была несколько ближе к русским социальным реалиям, нежели модель французская, — двор в России на самом деле существовал, и как раз в это время — в царствование Анны Иоанновны — в России начинает формироваться придворное общество (*höfische Gesellschaft*) с теми его социальными и культурными параметрами, которые присущи западноевропейским монархиям (см.: Элиас 1981). Этот процесс обойден вниманием историков, не привыкших в силу давно сложившихся предрассудков приписывать какие-либо цивилизационные инновации этой мало-симпатичной и малопросвещенной монархии. Все подобные инновации приписываются Петру. Тем не менее Петр придворного общества не создавал, он слишком был занят разрушением того социального порядка, который достался ему в наследство от XVII в., и его усилия завести в России европейский политес (дав юношеству, например, руководство в виде «Юности честного зеркала») имеют столь выраженный полемический характер, что созидательный момент отходит на второй план. Не создавала придворного общества и Анна, оно возникает при ней как бы поневоле. Жить по-старому оказалось невозможно, и это вполне обнаружилось, когда Анна в 1732 г. решила переехать в «европейский» Петербург из помнившей еще старые порядки Москвы (где Анна прожила полтора года — если не по-старому, то во всяком случае вспоминая старину; ср.: Анисимов 1994, 366–368). В Петербурге надо было жить по-новому, а это — при отсутствии петровского реформаторского пыла — означало жить, как жили другие европейские дворы. Образцом для всех был двор Людовика XIV, однако на блеск короля-солнца Анна не претендовала, а как норму воспринимала, видимо, немецкий придворный обиход — тень от французского блеска. Как тень этой тени и образовалось российское придворное общество, поэтому немцы занимали в нем важное место и, не изгоняя вполне русской специфики, прививали ему кое-какие немецкие порядки (потом это стало называться немецким засилием при Анне Иоанновне — ср.: Анисимов 1994, 424 сл.). Для этого в 1734 г. был заведен Сухопутный шляхетный корпус, и в этом же русле устраивалась литература — не в подражание золотому веку по Франции, но в том скромном качестве, в котором она существовала при немецких дворах.

Тем не менее и немецкий литературный ландшафт никак на российских просторах не просматривался. Хотя смена ориентира приближала Третиakovского к реальному полю деятельности, преобразование социального контекста литературного труда оставалось насущной задачей. В Германии придворная литература как социальный институт, основная функция которого состояла в литературном обслуживании двора, была относительно недавним явлением. Лишь во второй половине XVII в. «Integration des Dichters in den absolutistischen Territorialstaat» (Гарбер 1981, 41), ставшая актуальной еще накануне Тридцатилетней войны и предусматривавшаяся культурно-политической программой Опица, превращается в род придворной службы. Именно тогда «[d]ie Stellung des Dichters bei Hofe — zumeist in den Chargen des Bibliothekars oder Historiographen — sank zum Beiträger und Arrangeur höfischen Festwesens herab» (там же, 34). С этим процессом было связано падение значимости прежних форм социальной организации литературы, в частности Sprachgesellschaften и литературных обществ, вовлечение бюргерской литературы в новую абсолютистско-классицистическую культурную парадигму, вытеснение идеалов ученой литературы (продукции des lettrés) идеалами литературы светской (продукции des littérateurs).

Последний момент был явно связан с французским культурным влиянием. Концепция «политического» поведения и «политического» человека, утверждавшаяся Хр. Вайзе и образовавшая теоретическое основание нового функционирования литературы (Фрюзорге 1974), находит соответствие в социальных установках французских классицистов XVII в., адресовавших свою продукцию обществу des honnêtes gens и ориентировавшихся на культурные навыки этого общества. В Германии, однако, эта парадигма трансформировалась, накладываясь на иную предысторию и иные социальные структуры. С одной стороны, адресатом оказывалось не светское общество (не существовавшее в том виде, как во Франции), а двор со всеми его советниками и чиновниками (Гарбер 1981, 42), так что politesse наделяется своего рода просвещенческими обертонами. С другой стороны, при этой трансформации на месте главной европейской столицы, динамичной и в культурном и в социальном отношении, оказывается немецкое княжество, в котором придворная элита отделена от остального общества жесткими границами социальной иерархии, в которой практически отсутствует социальная мобильность. Литератор обслуживает придворное общество, но практически никогда не входит в него (ср.: Элиас 1969). Поэтому даже в интересующий нас период конца XVII — первой половины XVIII в. не полностью теряют свою значимость старые механизмы обеспечения социального статуса литератора, в частности университетская карьера, никакой роли во Франции не игравшая. Так, сам Вайзе не только служит при дворе, но и состоит профессором политики, риторики и поэзии в Gymnasium illustre, основанной в 1664 г. герцогом Августом Саксен-Вайсенфельским в качестве своего рода рыцарской академии, а в последние годы своей жизни становится ректором гимназии в родном Циттау. Позднее профессорами были Готтшед и Кениг, профессором Российской академии сделался, приехав в Петербург, и Юнкер. Немецкая модель предполагала некоторую социальную ущербность (позднее она развивается в ту парадигму немецкой культуры, которую Норберт Элиас противопоставляет французской цивилизации — Элиас 1969), так что социальные притязания

ния Тредиаковского стали, видимо, более скромными, однако и для этих притязаний готового контекста не существовало, и его надо было создавать на пустом месте.

Вступив на немецкую тропу, Тредиаковский в 1733 г. получает должность адъюнкта или секретаря Академии («bloss dem titel nach, ohne wirklich secretairsdienste zu thun», как замечает Г.-Ф.Миллер в своей Истории Академии наук — Материалы АН, VI, 585; ср.: Успенский и Шишкин 1990, 151—152) — профессорство было ему еще не по чину. В 1735 г. он создает Российское собрание при Академии, и это, видимо, должно было открыть ему путь к академическому продвижению. О деятельности Российского собрания мы не знаем почти ничего, и скорее всего не случайно, а потому, что и самой деятельности было очень немного (ср.: Берков 1936, 26). В Собрании было пять человек, занимавшихся в основном переводами, которые и могли рассматриваться на заседаниях (Материалы АН, II, 696—698)⁹. Это предприятие тем не менее весьма любопытно как попытка создать социальный контекст для литературной деятельности, институализировать ее, хотя на практике Тредиаковский институализировал лишь самого себя. Российское собрание по замыслу Тредиаковского было репликой Французской академии. Как и у французских академиков, первой задачей новосозданного общества было очищение языка и регламентация эстетических принципов. Говоря об этих задачах, Тредиаковский прямо ссылается на французский прецедент: «[П]ервые ли мы в Эвропе, которым сие не токмо трудно, но почти и весьма неприступно быть кажется? были, были таковые, которые не бояся того, но смотря на будущую из сего пользу, начали, продолжили, и некоторые с похвалою окончили. Например: не трудно было, в самом начале, Флорентинской Академии старание возмемть о чистоте своего языка; возмемела. Не страшно было, думаю, предприята так же и Французской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство их диалекта; предприяла. Не возможно, чаю, сперва казалось Леипцигскому Сообществу подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончили щастливо; подражает, и подражала благополучно» (Тредиаковский 1735, 12/1935, 330—331). В качестве первопроходцев предложенного пути Тредиаковский называет французских авторов, принадлежавших к первым двум поколениям *poeteux doctes*: «Французские Балзаки, Костарды, Патрю и прочие безчисленные» (там же, 14/331). Вместе с тем и план работ Российского собрания, предложенный Тредиаковским, в точности напоминал планы Французской Академии. Как следует из речи Тредиаковского, Российскому собранию предстояло позаботиться «о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению», «о дикционарие полном и довольном», «о Реторике, и Стихотворной Науке» (Тредиаковский 1735, 6-7/1935, 327—328). Эта программа является точной копией устава Французской Академии, в 26-м пункте которого говорится: «Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhétorique et une Poétique sur les observations de l'Académie» (Ливе, I, 493)¹⁰.

Итак, судя по этим данным, Тредиаковский вновь переключился с немецкой модели на французскую. Сама идея устройства специально литературного общества, отличного от Академии наук, говорит о том, что Тредиаковский пытается эмансипировать литературу от учености, т. е. создать для литературы то автономное социальное пространство, которое было у

французов и у них образовалось вместе с возникновением особых литературных обществ (в первую очередь Французской Академии). В России подобная эмансипация сводилась к утверждению права литературы на существование в качестве особого рода деятельности, а не привеска к академической науке. В это же время Третьяковский издает «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» — труд, по своему типу и риторическим стратегиям хорошо вписывающийся в деятельность французских *pouveaux doctes*. Для немецких придворных поэтов подобные задачи не были особенно актуальны. Правда, и в Германии Готтшед создает в Лейпциге в 1727 г. Немецкое собрание, которое Третьяковский упоминает в качестве образца. Однако Немецкое собрание не столько было призвано эмансипировать литературу от учености, сколько сделаться корпоративным институтом, ослаблявшим зависимость литератора от апроприировавших литературу дворов. В России для такого корпоративного самоутверждения не было никакой почвы: сначала надо было убедить государство апроприировать литературу.

Впрочем, и здесь ни о какой последовательности говорить не приходится. Например, в 1737 г. Третьяковский издает перевод (с французского) «Истинной политики знатных и благородных особ» Ремон-де-Кура (Третьяковский 1737). Этот выбор указывает скорее на немецкий образец пропаганды политеза с просвещенческими обертонами, чем на образец французский, в котором такая пропаганда могла быть адресована только начинающему мещанину во дворянстве и была тем самым в высшей степени маргинальна. Можно предположить, что в этих опытах социального творчества Третьяковский пытается соединить разные модели — точно так же как он это делает в своей стихотворной реформе (см.: Клейн 1995). И в этом случае отсутствуют утвердившиеся национальных традиций обеспечивают свободу экспериментирования, в котором смешиваются и накладываются друг на друга разные образцы, принадлежащие в своих истоках к трудно совместимым культурным парадигмам.

Реальным основанием для такой свободы было безразличие государства. При узости читательской аудитории воздействие литературы на общество никак не способно было стать предметом государственных забот. Следуя примеру других европейских дворов, русский двор мог — вполне бескорыстно — оказать поддержку неожиданно появившемуся литературному таланту, но он нисколько в нем не нуждался. Социальные эксперименты Третьяковского прекращаются в 1737 г. В этом году сгорел его дом и библиотека, и сразу же обнаружилось все ничтожество достигнутого им положения, т. е. общее ничтожество статуса ученого литератора при российском дворе. И двор, и академия вполне могли без него обойтись. Третьяковский, не имея средств для жизни в столице, вынужден уехать в провинцию, в Белгород, и зарабатывать гроши трудом переводчика — он берет с собой том «Древней истории» Ш. Роллена, многотомного сочинения, которое он затем переводит всю жизнь.

Окончательное разочарование в избранном пути ждет его по возвращении в Петербург. Он вернулся в 1739 г., а в феврале 1740 г. случилась известная в летописях русской литературы, обсуждавшаяся и Пушкиным и Белинским история, когда несчастный Третьяковский был избит кабинет-министром Артемием Вольтерским. Анна Иоанновна устраивала шутовскую свадьбу, так называемый «ледяной дом», и Вольтерский, распорядившийся

устройством праздника, требует от Третьяковского написать шутовское стихотворное приветствие для новобрачных. Представ перед Вольтером, Третьяковский начал жаловаться на неподобающее с ним обращение, за что и был избит сначала самим Вольтером, а затем и его подчиненными. Как позднее Третьяковский писал в репорте в Академию, «[с] сим я и отправился в дом мой, куда пришел, сочинил оные стихи» (Материалы АН, IV, 307). Он попытался жаловаться Бирону, но в приемной у фаворита опять встретил Вольтерского, опять был избит (Вольтерский при этом приговаривал: «буду-ли я иметь охоту на него жаловаться и стану-ли еще песенки сочинять» — Пекарский, II, 78) и отправлен на гауптвахту. На следующий день Третьяковский в шутовском наряде читал свою песенку во время потешной церемонии, после чего был вновь отправлен на гауптвахту (Материалы АН, IV, 306–309; Пекарский, II, 77–83). Каковы бы ни были причины этого прискорбного происшествия, социальную роль, которую двор отводил литературе, оно проясняло вполне однозначно¹¹. Двор с его развлечениями и церемониями мог быть заинтересован в отдельных видах литературной продукции, но, во-первых, он оставлял за собою право определять, что ему в данный момент нужно, и, во-вторых, оценивал услуги придворного стихотворца не выше, чем, скажем, работу придворного сапожника. Никакого элемента утешительной метафоры в понятии социального заказа или обязанностей клиента в отношении патрона при русском дворе не оставалось.

Сыграло ли роль это фиаско, или возникшая конкуренция со стороны Ломоносова, или отсутствие при дворе надежного патрона, но только в первой половине 1740-х годов Третьяковский расстается с замыслом построить свою литературную биографию по немецкой модели придворного поэта. Нужно было искать иной образец жизненного устройства. Правда, еще в 1742 г. он пишет панегирическую оду Елизавете, а в 1745-м становится, наконец, профессором академии, но это запоздалые веки с той дороги, которую Третьяковский уже покинул. Сам способ получения академического места свидетельствует о поисках новых путей социального утверждения. В 1743 г. Третьяковский подает прошение о производстве его «в профессора Элоквенции как российския, так, и латинския» (Пекарский, II, 97), но получает отказ от академической конференции. Третьяковский полагал, что академики отказали, так как «надобно было заградить путь российскому человеку как нибудь» (Третьяковский 1851, 233). Вряд ли, однако, дело было только в так называемом «немецком засилье», поскольку та же академическая конференция в то же время рекомендовала Ломоносова и Крашенинникова. Третьяковский называет ту причину, о которой говорили все те, кто, ожидая щедрот от нового режима, объявлял себя потерпевшим от «антироссийской» политики Анны Иоанновны. В отказе академической конференции действительно, видимо, сыграло роль желание не допустить в свой круг чужака, однако дать волю этому желанию академики могли именно потому, что патрона у Третьяковского не было.

Вполне, надо думать, осознавая это, Третьяковский обращается за помощью в достаточно неожиданную инстанцию — Св. Синод. Выбор этот неожидан не потому, что для него нельзя найти формальных западных аналогов, такие аналоги как раз найти можно (католическая церковь и в особенности иезуиты патронируют отдельных литераторов во Франции). Вы-

бор этот странен, поскольку в послепетровской России (в отличие от Франции) духовенство вообще, а Синод в частности не располагают сколько-нибудь заметным влиянием, а потому мало подходят на роль патрона. Правда, после переворота 1742 г. православные иерархи в полной мере использовали тему прихода к власти дочери Петра как восстановления погрязшего православия (хотя ее отец и был первым попирателем), а в государственный дискурс наряду с элементами национального самоутверждения вошли и мотивы официального благочестия. Тредиаковский, можно думать, рассчитывал именно на эту новую силу церковного голоса, но этот расчет в любом случае был нарушением социального порядка, поскольку петровская государственность отрицала всякую возможность вмешательства церковных властей в неподведомственные им сферы. Такое нарушение социальных норм неизбежно влекло за собой маргинализацию, и, хотя Тредиаковский по представлению Сената получил академическое место (Пекарский, II, 106–107), он остался аутсайдером как для академической публики, так и для петербургской элиты, пользовавшейся услугами академиков¹².

Избрание в Академию — едва ли не последний успех в карьере Тредиаковского, и при этом успех отнюдь не полный. Каким бы ненадежным ни был социальный статус профессора в России середины XVIII в., даже он плохо приживается к Тредиаковскому. «Господа сотоварищи» время от времени вспоминают незаконность его вторжения в их сообщество (ср.: Пекарский, II, 112) и выжидают лишь удобного момента, чтобы избавиться от него, повторные попытки найти поддержку у Синода не приносят результата¹³. Культурная элита явным образом отторгает от себя Тредиаковского, и это отторжение обусловлено тем, что неясной и неприемлемой оказывается та социальная модель, которой он следует. О том, какой была эта модель, свидетельствуют те монументальные работы, которым он посвящает последние десятилетия своей жизни. Как уже говорилось, он переводит «Древнюю историю» Роллена, затем его же «Римскую историю», а после этого «Историю римских императоров» ученика Роллена Кревье; это тридцать больших томов. Русский читатель получал корпус сведений об античной истории на уровне тогдашней науки и тем самым, по принятому в XVIII в. мнению, ключ к просвещенному взгляду на историю и политику. А в дополнение к этому он переводит два наиболее известных в Европе политических романа: «Аргениду» Баркляя и «Приключения Телемака» Фенелона, снабжая читателя инструментами анализа политических систем и исторических обстоятельств (о значении этих переводов см.: Пумпянский 1941, 241–248). Очевидно, что Тредиаковский следует при этом новой установке — не модного литератора и не придворного поэта, а ученого наставника народа. В рамки этой установки естественно укладывается и создание религиозно-философского трактата в стихах «Феоптия» (1750–1754 гг.); в нем взгляд на творение мудрого философа противопоставлен, с одной стороны, обскурантистскому невежеству, а с другой — развратному безбожию. Эта же позиция просматривается и в сделанном Тредиаковским стихотворном переложении Псалтыри, которое преследует не только чисто литературные, но и религиозно-просветительские задачи¹⁴.

Такой перелом в карьере не является чем-нибудь чрезвычайным, если иметь в виду все множество европейских литературных биографий этого

времени. Там, где начинают играть роль литературная мода и удача, не могут не появиться и неудачники (ср.: Виала 1985, 233—235). Уклонение от принятых способов построения литературной карьеры ведет к маргинализации. Парадокс состоит в том, что в русских условиях маргинализация происходит при том, что по торному пути, оставленному Третьяковским, идут не стройные ряды успешных литераторов, а от силы один Ломоносов. Таким образом, разветвленная европейская литературная ситуация проецируется на русскую сцену, располагающую лишь минимальным числом актеров, так что им приходится играть по несколько ролей и единолично представлять целые литературные институции. Более того, в этот эмбриональный период русские литераторы располагают поразительной свободой выбора ролей и моделей, не ограниченной ни литературным прошлым (которое регулярно выводит из игры очередной набор ролей), ни переполненной литературной сценой, на которой занято каждое место, так что устранением предшественника приходится заниматься даже маргиналам. Эта свобода выбора обусловлена, как уже говорилось, периферийностью литературы в целом и в силу этого отсутствием у литератора всякого социального статуса; как бы, однако, ни были прискорбны эти обстоятельства сами по себе, свободу они все-таки создавали.

Выбирая новую установку, Третьяковский явно не считаетея ни с европейской модой, ни с соображениями благоразумия. Он больше не стремится к автономизации литературы, а обращается к той гуманистической модели, которая во Франции была дискредитирована литературным движением *poiveaux doctes*, а в Германии отступила на второй план с появлением массовой придворной поэзии. Правдоподобно, что, расставшись с не принесшими успеха немецкими примерами, он вновь обращается к своему французскому опыту, однако в качестве своих новых героев избирает не модных литераторов, но фигуры, для литературного процесса конца XVII — начала XVIII в. в том или ином отношении маргинальные. Во Франции, снабжавшей Третьяковского образцами и категориями самопредставления, литература, обретшая независимость и противопоставившая себя гуманистическому синтезу (синтезу литературы и учености) в первой половине XVII в., вместе с обретением независимости утратила собственную политическую и моральную позицию; в политическом и нравственном отношении литература *poiveaux doctes* была конформистской, отказавшейся от тех утопических задач нравственного преобразования и политического переустройства Европы, которые утверждались поздним гуманизмом (ср.: Гарбер 1987). Как афористически формулирует Л. В. Пумпянский, «рenegат науки — герой абсолютистской интеллигенции» (Пумпянский 1983, 7). Традиции позднего гуманизма не были, однако, полностью забыты, во фрагментированном и преобразованном виде они продолжали действовать на периферии литературного пространства. «Аргенида» Барклая еще в существенной степени относилась к позднегуманистической традиции, «Приключения Телемака» Фенелона, исторические и педагогические сочинения Роллена сохраняли — в неодинаковой степени и в несхожих трансформациях — отголоски позднегуманистической утопии. Третьяковский (вряд ли хорошо знакомый с собственно позднегуманистическими сочинениями) вновь собирает разбросанные осколки ушедшей в прошлое парадигмы и на ней основывает свою социальную, литературную и нравственную позицию. И именно эта позиция превращает Третьяков-

ского в маргинала. Г.Н.Теплов, чутко улавливавший направление господствующей культуры, замечает в 1755 г.: «По сие время все русские стихотворцы персонально нам ведомы. Ни единого из них нет, у котораго бы таковым густым изо всех школьных наук чадом набита была голова, как Тредиаковского. Он один сим заражен, защищает слова школьные латынския и взводит на Цицерона свою собственную поваренную латынь» (Пекарский, II, 189–190).

И в этом случае Тредиаковский, видимо, ориентируется на конкретный образец, демонстрировавший, что неогуманистическая позиция также может быть основой для обретения социального статуса — возможно, не столь ясно очерченного и выигрышного, как статус придворного литератора, но зато более соответствующего характеру и наклонностям трудолюбивого моралиста. Представляется, что особенно важной в этом отношении фигурой был для Тредиаковского Ш.Роллень. Тредиаковский, слушавший его лекции во Франции и потом всю жизнь этим гордившийся (Материалы АН, VI, 172), называет его «великим» (Тредиаковский, РИ, I, с. Д1). Существенны два момента: во-первых, сочинения Роллена по античной истории были учебником стоической нравственности и гражданского достоинства в развращенной Франции эпохи Регентства, во-вторых, в его «*Traité des études*» гуманитарные знания тракуются как необходимый элемент воспитания общества. Обе эти установки были чрезвычайно близки Тредиаковскому и воспринимались им, видимо, как координаты его собственной жизненной и литературной позиции. Роллень был ученым-эрудитом и одновременно независимым нравственным наставником общества. О такой же позиции мечтал для себя и Тредиаковский¹⁵.

Тредиаковский в своей ипостаси «русского Роллена» не был похож на Роллена прежде всего потому, — и это важно в нашей перспективе, — что настоящий Роллень стоял практически вне литературы. Роллень пишет свои сочинения в виде ученых трактатов, Тредиаковский создает ученый трактат («Феоптию») в виде поэмы. Роллень из позднегуманистического синтеза извлекает лишь одну линию преемственности — нравственно-просветительскую, Тредиаковский возвращается к целостности этого синтеза. Тредиаковский тем самым не сходит с литературного поприща, но утверждает новые задачи литературы. Литература должна не воспевать и украшать, но просвещать и наставлять. При этом, как показывают «Аргенида» и «Тилемахида», первым адресатом наставлений оказывается правящий монарх, концептуализирующий как центр социальной гармонии. Одновременно авторство сопрягается с новым набором текстов: критерием отбора текстов, конституирующих авторский *oeuvre*, становится не их успех (т. е., в русских условиях, их апробация двором), а их внутреннее нравственное достоинство, не зависящее от властей и публики¹⁶.

Роллень полагался за свою независимость уходом из университета и недоброжелательством части общества; ни своего положения, соответствовавшего закрепленному социальному статусу, ни относительного благополучия он при этом не лишился. Он оставался включенным в корпоративные институты, которые создавали для него минимальную социальную защищенность. Аналогичный статус в России никак закреплен не был (вплоть до середины XIX в.): общество своих независимых наставников не поддерживало, а власть им, естественно, не симпатизировала. Переставший писать панегирики Тредиаковский покровителя при дворе не имел, и

его ученые достоинства популярностью там не пользовались. Скорее напротив: попытки учить царей праведности, хотя бы и посредством переводов (в них, впрочем, Третьяковский постоянно добавлял свои собственные, часто весьма резкие слова — ср.: Лакшин 1962), двором воспринимались как непристойность. Позднее, чтобы лишить назидательные сочинения Третьяковского всякого авторитета, Екатерина II заставляла придворных учить «Тилемахиду» в качестве штрафа. Как сообщает Евгений Болховитинов, «[П]ри императрице Екатерине II в эрмитаже установлено было шуточное наказание за легкую вину выпить стакан холодной воды и прочесть из Тилемахиды страницу; а за важнейшую — выучить из оной шесть строк. Сей закон написан был золотыми буквами на таблице, которая и до ныне цела» (Евгений Болховитинов, II, 221)⁷. В этом контексте обличения тирании становились пустой шуткой, а Третьяковский — нелепым шутком (ср.: Орлов 1935).

Воспользовавшись беззащитностью Третьяковского, его соперники на литературном поприще — Ломоносов и Сумароков — ославили его бездарностью и постарались вытеснить с литературной сцены. В 1757 г. Третьяковский — по собственным его словам, «ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах... прободаемый сатирическими рогами» (Пекарский 1866, 179) — перестает появляться в Академии — как раз в то время, когда заправлять академическими делами начинает Ломоносов. В 1759 г. Третьяковского отставляют от Академии, и последние десять лет жизни он проводит в полунищете и болезни. Репутация, созданная ему его соперниками и недоброжелателями, закрепляется за ним на долгие годы (Рейфман 1990), так что этот первый опыт литературной независимости остается в обществе неосознанным и невоспринятым. Насколько успешной была эта дискредитация, видно из всей последующей рецепции Третьяковского. В истории литературы он сохраняет определенное место лишь как реформатор стиха, а в истории общественной мысли оказывается в полной мере *quantité négligeable*, несмотря на то, что в этой сфере его влияние на читающую публику было никак не меньшим, чем влияние Ломоносова или Сумарокова (ср.: Рейфман 1990, 41–42)⁸. Показательно, что В. Глисон (1981), рассматривая интеллектуальную предысторию политической мысли Фонвизина, Новикова и Богдановича, подробно пишет о политических идеалах Ломоносова и Сумарокова, а Третьяковского даже не упоминает.

Между тем социальное творчество Третьяковского создавало особое направление в решении проблемы литературы и власти и вводило в понимание авторства черты гуманистического идеала, до Третьяковского русскому обществу неизвестные. Без этого личностного коррелята совокупность его просвещенческих трудов теряет свою цельность и делается в глазах потомства плодом бессмысленного трудолюбия педанта: несвоевременный опыт гуманистического синтеза воспринимается как попытка подменить талант ученым начетничеством. Придать литературе социальный статус Третьяковскому не удастся, ни одна из трех моделей, которые он вводит в русский литературный процесс, социального пространства литературы не образует. Однако проблему места литературы в жизни русского европеизированного общества Третьяковский ставит с чрезвычайной остротой, и в этом его опыт оказывается в полной мере воспринят и использован.

ЛОМОНОСОВ

Неудачливому Третьяковскому противостоит торжествующий Ломоносов. Противостояние это, однако, носит в большой степени мифологический характер: оппозицию образуют миф Третьяковского и миф Ломоносова, созданные мифологизированной историей литературы. История создания этой мифологии подробно описана И. Рейфман (Рейфман 1990; ср. еще: Глаголева 1911), и прямого отношения к нашей теме не имеет. Надо, впрочем, сказать, что образование ломоносовского мифа, начавшееся практически сразу же после его смерти, решало ту самую задачу, которую не удалось решить при жизни «отцам» новой русской литературы — утверждение социального статуса литературы и литератора. Возможность подобной легитимации появляется вместе с возникновением в 1760-х годах читательской аудитории, не совпадающей с двором. Для этой новой аудитории Ломоносов оказывается репликой Петра Великого в сфере литературы: Петр выступает как мифологический творец новой России, Ломоносов — как мифологический творец новой русской литературы, продолжающий дело Петра и как бы от него получивший свою миссию. Новая литература становится при этом — в прямом противоречии с фактами — неотъемлемой частью петровских преобразований, и это делает поддержку литературы такой же обязанностью европеизированного общества, как и верность «делу Петра» в целом. Элементы этого мифа появляются уже в Оде на смерть Ломоносова А. П. Шувалова 1765 г.¹⁹, они просматриваются в ломоносовской биографии, составленной Я. Штелином, ясно видны в Похвальном слове Ломоносову М.Н. Муравьева и к концу XVIII в. становятся штампом историко-литературного сознания. На Ломоносова могут даже переноситься атрибуты петровского мифа. Красноречивый пример — стихи А. С. Пушкина «Отрок», в которых призвание юного рыбака Ломоносова в литературу описывается как призвание Христом апостолов. В петровском мифе апостолом новой России был Петр, это «апостольство» Петра распространяется теперь и на Ломоносова, который должен стать «помощник царям» (Пушкин, III, 241). Если литература утверждается как продолжение миссии царя-преобразователя, это естественно обеспечивает ее социальный статус, а писателю дает в обществе место рядом с государственным мужем.

Ломоносовский миф воздействует и на построение реальной биографии писателя, она начинает воссоздаваться по своего рода агиографическому канону. Как юный святой наделяется врожденным стремлением к праведности, отстраняющим его от бессмыслицы детских игр, так и Ломоносову приписывается некое врожденное просветительство: тяга к учению и литературному труду, восторженное отношение к петровским преобразованиям и рациональная недоверчивость к религиозной догме (см. все эти элементы в последней из появившихся биографий Ломоносова: Серман 1988, 11—17)²⁰. Поэтому и дальнейшее повествование о его жизни оказывается описанием того, как осуществлялось это изначальное призвание. Эта схема предполагает, конечно, борьбу, конфликты, поиски недоброжелателей, но исключает куда более важный внутренний момент: неуверенность в своих жизненных позициях и поиски моделей, которые позволили бы эти позиции утвердить. Между тем без этих поисков, т. е. социального эксперимента, непонятны не только отдельные биографические детали, но и динамика творчества писателя.

Ломоносов родился в деревне недалеко от Холмогор в семье черного (государственного) крестьянина, занимавшегося перевозкой грузов по Северной Двине и Белому морю и в силу этого достаточно зажиточного. Крестьянское происхождение и образует мифологический зачин ломоносовского мифа, поскольку в обычном случае происхождение в XVIII в. предопределяло жизненные обстоятельства: по заведенному Петром порядку государственной жизни дети крестьян оставались крестьянами. Ломоносов был исключением. Эта исключительность связывается с его необыкновенной одаренностью, что, видимо, справедливо, но никак не раскрывает работу социального механизма, допустившего это исключение. Оригинальность судьбы Ломоносова видна в ретроспективе, начальные годы указывают скорее на известный, хотя и не слишком частый социальный тип.

Ломоносов получил традиционное воспитание и, видимо, продолжал бы дело своего отца, если бы не конфликт с мачехой, которая была недовольна склонностью Ломоносова к чтению и несклонностью к хозяйственной деятельности. Разрешается этот конфликт достаточно обычным образом: девятнадцатилетний Ломоносов уходит из дому и отправляется в расположенный неподалеку монастырь²¹. В монастыре он служит псаломщиком, однако остаться там надолго не может (поскольку пострижение в монахи строго регламентировалось и дееспособных мужчин не постригали — см.: Крейкрафт 1971, 251—261). Здесь, видимо, и возникает план его отправки в Москву и поступления в Славяно-греко-латинскую академию. Ни о каком ломоносовском антиклерикализме для этого времени не может быть и речи²². Уйдя из деревни, т. е. лишившись наследственного социального статуса, Ломоносов пристал к той плохо определенной и мало изученной группе населения, для которой отсутствие ясного социального положения было обычным, — к прицерковным людям. Несмотря на все петровские запреты, эти люди никогда не переводились и иногда пристраивались, становясь монахами или священниками, хотя чаще так и оставались без места в жизни, перебираясь из монастыря в монастырь²³.

Одним из способов получения нового социального статуса было поступление в духовную академию. Кончив академию, можно было получить место священника или, постригшись в монахи, остаться в академии преподавать, или, наконец, уйти на государственную службу. Нельзя было, строго говоря, лишь поступить в академию, поскольку из податных сословий в нее не принимали. Это препятствие, однако, можно было обойти, записав себя дворянином или поповским сыном: контроль не был тщательным, и соответствующие установления нередко нарушались (нередко, вероятно, с помощью взятки). В семинариях и академии студентов не хватало, так что нет ничего удивительного в том, что Ломоносова, сказавшегося дворянским сыном из Холмогор, в академию приняли. Проучившись там четыре года (1730—1734), он попытался стать священником. И.К. Кириллов готовил в это время экспедицию в Киргиз-Кайсацкие степи, и ему нужен был походный священник. Охотников не находилось, поскольку место было непостоянным, неприбыльным и небезопасным, и Ломоносов вызвался его занять, надеясь, видимо, что на это незавидное место священника поставят, не справляясь особенно с документами. На этот раз он заявил, что его отец «города Холмогор церкви Введения Пресвятыя Богородицы поп» (Ломоносов, X², 321). Проверка, однако, была, обман обнаружился, Ломоносов должен был давать показания и виниться, что ложные

показания он «учинил с простоты своей» и что «ныне он желает по-прежнему учиться во оной же Академии» (там же, 323).

Итак, в священники Ломоносова не поставили, но, впрочем, не выгнали и из Академии, это было бы ненужным для академического начальства скандалом, да и было жалко студента, показавшего успехи в учении. Правдоподобно, что и посылка Ломоносова в Киев в 1734 г. была связана прежде всего с решением бюрократических проблем. В Киевской академии порядок зачисления студентов оставался более либеральным, чем в Москве (в силу существования старых традиций и несходства в социальной организации русской и украинского общества, еще не уничтоженного в то время имперской политикой); в Киеве студент Ломоносов не был такой вопиющей аномалией, как в Москве. По словам П. Знаменского, «число светских учеников в них [украинских школах] всегда было даже больше, чем духовных, и не только в XVII, но даже почти до конца XVIII столетия» (Знаменский 1881, 4)²⁴. Стояли ли за этой поездкой какие-либо дальнейшие планы — например, пострижения в монахи или получения священства — или это было лишь временной мерой, решавшей проблему бюрократической отчетности за текущий год, остается неясным. Штелин сообщает, что Ломоносов был послан «в Киев для изучения философии, физики и математики. Там нашел он одне сухия бредни вместо философии, но совершенно никаких материалов для физики и математики. А потому не остался и года в этой Академии» (Куник, II, 392; ср.: Павлова 1962, 24); как и в других случаях, Штелин (возможно, со слов самого Ломоносова, но без всяких реальных оснований) подстраивает раннюю биографию своего героя к тому портрету мужа науки и поэзии, который он рисует, исходя из позднейшей перспективы. Во всяком случае, никакого нового статуса Ломоносов в Киеве не получил и вернулся в Москву, ничуть не продвинувшись в разрешении той коллизии, которая создавалась его незаконным пребыванием в студентах и принадлежностью к податному состоянию. Положение Ломоносова оставалось неопределенным, у него, по существу, не было никакого легального статуса, и никакой перспективы устроить свою жизнь не вырисовывалось.

Социальная деадаптация была выражена в этом случае еще ярче, чем у молодого Тредиаковского. Как раз на это время и приходится поворотный момент ломоносовской биографии, окончательно закрывший перспективы карьеры духовной, но зато открывший перспективы карьеры светской²⁵. Барон Корф, ставший в 1734 г. президентом Академии наук, в 1735 г. решает оживить академический университет, который, как уже упоминалось, был скорее фикцией, чем реальным институтом. Поскольку студентов взять было неоткуда, он затребует двадцать человек из числа обучающихся в Московской духовной академии (заполнение новых государственных учебных заведений за счет учащихся духовных школ было обычной практикой в течение всего XVIII в. — см.: Никольс 1978). Духовное ведомство, отнюдь не обрадованное таким грабежом, послало двенадцать Ломоносов был в их числе, не столько, видимо, в силу своих выдающихся способностей (если бы в духовной академии думали о них, Ломоносова постарались бы не отпустить), сколько в силу того, что это решало бюрократическую проблему: ответственность за незаконно принятого студента, которого нельзя было законно выпустить из академии, перекладывалась с духовного ведомства на барона Корфа и его коллег.

Академический университет существовал только на бумаге, и будущих академических деятелей, в том числе и Ломоносова, послали учиться в Германию. Социальные перспективы оставались неопределенными. В Германии те социальные проблемы, перед которыми стоял Ломоносов, были хорошо известны и парадигматически концептуализированы. Ломоносову осталось лишь усвоить этот опыт и следовать готовым моделям поведения, сложившимся в буршикозной среде. Видимо, в качестве реализации этой модели Ломоносов пьет, буянит, женится и бросает жену (как и Тредиаковский). Знаменательно в этом отношении, что Ломоносов увлекается Гюнтером, в поэзии которого одна из главных тем — это социальный надрыв, постоянный конфликт между призванием поэта и необходимостью социального и профессионального самоутверждения, между карьерой и жизнью «сына муз» (ср.: Бютлер-Шен 1981, 56–78; Пумпянский 1983, 8–15). По свидетельству Штелина, Ломоносов «от обхождения с тамошними (германскими) студентами и слушая их песни, возлюбил немецкое стихотворство. Лучший для него писатель был Гюнтер» (Пекарский, II, 298). В другом месте Штелин замечает, что «[в] особенности любил он стихотворения Гюнтера и знал их почти наизусть» (Куник, II, 393); вряд ли случайно, что, покидая Германию, он просит прислать ему из оставленного во Фрейберге «nur die drey Bücher: Nicolai Causini Rhetoricam, Petri Petraei Historiam von Rußland und den Günther» (Ломоносов, X², 432). Вместе с тем Ломоносов и сам пишет стихи; были ли эти начальные опыты написаны в манере Гюнтера, остается неясным, несомненно, однако, «особое значение Гюнтера в сложении литературных взглядов Ломоносова» (Пумпянский 1983, 16).

В 1739 г. Ломоносов пишет Оду на взятие Хотина. Каковы бы ни были предшествующие поэтические опыты, это был важный шаг, которым Ломоносов заявлял о себе как о поэте публично. Эта ода была написана по прямому образцу прославленной оды Гюнтера на победы принца Евгения, которую Гюнтер, по словам Пумпянского (там же, 9), «победил придворных поэтов на их же территории». Выбор этого образца можно, кажется, связать с определенной социальной стратегией. Гюнтер пытался, хотя и без успеха, сделать карьеру придворного поэта, сначала при дрезденском дворе, а затем при графе фон Шпорк. Как пишет Х. Бютлер-Шен, «Günther anerkennt grundsätzlich die Verpflichtung zu einem Brotberuf, sein Ziel ist keineswegs eine reine Dichterexistenz» (1981, 64). Ода на победы принца Евгения воплощала эти поиски социального статуса. Те же поиски стоят, надо думать, и за Хотинской одой Ломоносова. О серьезности намерений Ломоносова говорит и тот факт, что, подражая Гюнтеру, он вместе с тем не допускает в своей оде тех жанровых нарушений, которые позволяет себе Гюнтер (строфа со сценой в таверне), полностью выдерживая Хотинскую оду в официальном стиле (ср.: Пумпянский 1983, 17–18). Таким образом, увлечение Гюнтером, отвечавшее социальным потребностям Ломоносова, давало ему и модель жизнеустройства, однако избирательность в следовании Гюнтеру присутствует с самого начала: присущий Гюнтеру момент барочного индивидуализма у Ломоносова полностью устранен в силу «die Unterordnung des Privaten unter das Gesellschaftliche» (Кирхнер 1961, 496; лучше было бы, впрочем, говорить здесь не об «общественном», а о «государственном»); равным образом и в дальнейшем Ломоносов Гюнтера не повторяет, что заметнее всего сказывается на жанровом репертуа-

ре (см. ниже) — многообразию жанров у Гюнтера противостоит одическая монотонность его русского последователя.

Характер Хотинской оды однозначно свидетельствует о том, какой литературный и социальный образец выбирает для себя Ломоносов: в своей панегирической поэзии он, как и за пять лет до этого Тредиаковский, следует немцам. И как и Тредиаковский, но лишь с большей последовательностью, исключавшей всякий компромисс с национальной традицией (традицией силлабической поэзии — см.: Клейн 1995, 36—37), он по немецкому образцу реформирует русское стихосложение: силлаботоника молодого Ломоносова — это немецкая силлаботоника. Вместе с Хотинской одой он отправляет в Петербург, в Академию наук «Письмо о правилах российского стихотворства». Трудно сказать, предполагал ли он уже в это время, полемизируя с Тредиаковским, потеснить его на поприще придворно-академического поэта, или это был опыт бескорыстного состязания с единственным тогда русским авторитетом в области поэзии. Во всяком случае эти тексты были написаны с явной мыслью привлечь к себе внимание в Петербурге, и можно подозревать, что вольно или невольно подтолкнул к этому Ломоносова все тот же Юнкер, несколько раньше ставший образцом для Тредиаковского. Во всяком случае Ломоносов встречался с Юнкером во Фрейбурге в 1739 г., обратил на себя внимание петербургского академика и именно с ним отправил в Россию свои литературные опыты. В отличие от Тредиаковского, Ломоносов начинает свою литературную карьеру не со скандала, а с сочинения, которое обнаруживает претензии на определенную социальную роль. Это было «правильное» начало карьеры, подсказанное теми же немцами (но не Гюнтером) и, возможно, учтивавшее и опыт Тредиаковского. Это определяет и выбор жанра для того первого опуса, которым Ломоносов заявляет о себе. Он не экспериментирует, а прямо вступает на тот путь, который сулит социальное восхождение — пусть медленное и неверное, но уже опробованное и апробированное.

Сам Ломоносов вернулся в Россию в 1741 г. — самовольно, поругавшись со своим немецким профессором. Наказан он не был (было не до него), но и никакого продвижения не получил, оставшись студентом при Академии. С явной целью изменить свое положение он пишет две оды, обращенные к Иоанну Антоновичу. Здесь уже четко обозначается решимость сделаться придворным поэтом по немецкому образцу. И эта попытка не имела успеха, поскольку Иоанн Антонович в том же 1741 г. лишился престола. Смена монарха, однако, всегда освобождала места для новых людей и открывала новые перспективы. Переворот, произведенный Елизаветой Петровной, способствовал упрочению положения Ломоносова. Он становится адъюнктом Академии по классу физики. Здесь впервые в ломоносовском дискурсе появляется мотив национальной культуры, о процветании которой должны заботиться русские ученые. Тема была актуальной, поскольку одним из лозунгов елизаветинского переворота являлась борьба с «немецким засилием» предшествующего царствования²⁶. Литературные труды способствовали этому успеху и закрепляли его. В 1741 г. Ломоносов переводит оду Штелина на рождение Елизаветы, в начале 1742-го — оду Юнкера на коронавание и одновременно сам пишет оду на прибытие племянника императрицы Петра Федоровича. Эти стихи, изданные Академией, утверждают за Ломоносовым положение придворного поэта.

По данному пути и следует Ломоносов — со взлетами и падениями — вплоть до конца своей жизни. При этом он понимает этот путь достаточно ригористично: профессиональный панегирист никакой свободой пользоваться не должен. Замечательно, что в одном письме Шувалову, говоря о Вольтере, он отзывается о нем с некоторым неодобрением, предупреждая своего патрона, что Вольтер — «человек опасной» и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера» (Ломоносов, VIII, 196/Х², 525). Вольтер оказывается, таким образом, ненадежным панегиристом, плохо исполняющим обязанности поэта, как их понимал Ломоносов. Видимо, подтекстом прежде всего служат отношения Вольтера с Фридрихом Великим (которые, замечу, Сумароковым рассматривались как вожделенный образец — см. ниже), и вольтеровские вольности кажутся Ломоносову нарушением профессиональной парадигмы: критические оценки не дело придворного поэта²⁷.

Ломоносов счастливо избегает того краха, который постиг на этой стезе Третьяковского, однако было бы опрометчиво думать, что отсутствие катастроф означает сколько-нибудь устойчивое благополучие. В 1745 г. Ломоносова производят — видимо, по протекции вице-канцлера М. И. Воронцова — в профессора, т. е. в полные члены Академии (одновременно с Третьяковским); литературные заслуги играют при этом едва ли не большую роль, чем научные. Некоторое социальное положение было этим обеспечено, и Ломоносов мог бы торжествовать победу. Однако положение это ничем, кроме благосклонности двора, обеспечено не было, и, как мы знаем по судьбе изгнанного из Академии Третьяковского, могло быть отобрано с той же легкостью, с которой было дано. Чина академическая служба не приносила, так что место в Академии не давало даже тех небольших гарантий, которые предоставляла табель о рангах. Ломоносов вместе с другими академиками обращается в 1749 г. к президенту Академии графу К. Разумовскому с прошением об исправлении этого упущения: «Что честь Академии наук вашему сиятельству любезна, и, зная что по вашему сиятельству, яко главе, состоит в ея членах, сего никто не оспорит. Того ради отнюдь не сомневаемся, что ваше сиятельство далее не попустите, чтобы мы почитались в одних рангах с теми, которые и с адъюнктами нашими учением сравниться не могут, каковы морской академии ученики. Все природные и чужестранные в службе ея величества, кроме нас, почтены пристойными рангами, того ради вашему сиятельству приносим всепокорнейшее прошение, чтобы и мы вашего сиятельства милостивым предстательством той же ея величества высочайшей милости наслаждаться удостоены были» (Пекарский, II, 420). Прошение это удовлетворено не было, так что профессора остались без чина, а ученость так и не приобрела (при жизни Ломоносова) бюрократической шкалы. Ломоносов, впрочем, чин получил, но в индивидуальном порядке, а не как профессор Академии, и у этого были свои неудобства: никакого порядка производства по службе такое пожалование не предполагало. Ломоносов был произведен в коллежские советники (шестой чин) 1 марта 1751 г. (Ченакал 1961, 176), но следующего чина (статского советника) дождался только через двенадцать лет; указ об этом был подписан Екатериной II 15 декабря 1763 г. (там же, 397) после усиленных хлопот поэта, доказывавшего, что он несправедливо обойден младшими по службе²⁸.

В этих условиях доказательство своей нужности, своего превосходства над действительными или мнимыми оппонентами оказывается каждодневной необходимостью. Именно это обуславливает то сочетание чрезвычайной и порой униженной лести, которую обращает Ломоносов к своим покровителям, с самопревозношением и высокомерием по отношению к своим ученым и литературным соперникам. С одной стороны, Ломоносов может писать И.И.Шувалову о «непременном Вашем ко мне снисхождении, которое я чрез много лет за великое между моими благополучиями почитаю» (Ломоносов, VIII, 124/X², 478), а с другой — ставить себя в ряд великих мужей науки, говоря в то же время о «скудоумном таланте» своих противников или обругивая их «гонителями наук» (Ломоносов, VIII, 143, 181/X², 493, 519). Это непривлекательное сочетание, приводившее в недоумение историков прошлого века, было характерно не для одного Ломоносова, но и для Сумарокова (см. ниже), а отчасти и для Тредиаковского, так что вряд ли целесообразно толковать его как странность характера. Мы имеем здесь дело с социальным фактом, возникшим из-за отсутствия социального статуса; получение такого статуса требовало утверждения собственной исключительности, и это обязательство, тяжелое и унижительное, поддерживало ощущение социальной неполноценности, а вместе с ним и тот надрыв, который побуждает Ломоносова пить, скандалить и вступать в бесконечные конфликты со своими коллегами.

Чтобы сохранить расположение императрицы, придворному поэту нужен был патрон, пользовавшийся влиянием при дворе; зависимость от патрона также была одним из неутешительных, но необходимых атрибутов этой профессии. Во второй половине 1740-х годов влияние покровителяствовавшего Ломоносову М.И.Воронцова заметно падает, и Ломоносову приходится искать другого патрона. В 1750 г. Ломоносов пишет панегирическую идиллию «Полидор», обращенную к Кириллу Разумовскому, младшему брату фаворита Елизаветы, сделанному в 1746 г. президентом Академии наук (ему было тогда двадцать два года), но место при Разумовском оказывается уже занятым Григорием Тепловым. Тогда Ломоносов находит себе покровителя в И.И.Шувалове, который в 1749 г. становится любовником императрицы по протекции своих вельможных кузенов, устроивших на это влиятельное место своего человека. Биографы Ломоносова часто стараются изобразить отношения между своим героем и Шуваловым как своего рода дружбу: блистательный Ломоносов просвещает любознательного мецената, а тот с увлечением поддерживает гениальные начинания своего старшего друга. Эта картина анахронична и восходит к тем временам, когда литература обрела твердый социальный статус и патронат стал казаться унижительным для профетической миссии писателя. Если, однако, мы взглянем на заключительные строки «Письма о пользе стекла» (1752 г.), обращенного к Шувалову, отношения патрона и его клиента вырисовываются вполне однозначно:

А Ты, о Меценат, присудствуя пред Нею [Императрицей]
(вариант: предстательством пред Нею)

Какой наукам путь стараешься открыть,
Пред светом в том могу свидетель верной быть.
Тебе похвальны все приятны и любезны,
Что тшятся постигать учения полезны.

Мой посильные и малые труды
 Коль часто перед Ней воспоминаешь ты!
 Услышанному быть Ея кротчайшим слухом,
 Есть новым бытия животвориться духом!

(Ломоносов, II, 103; втр. пагинация, 34)

Функции патрона определены здесь вполне четко: он предстательствует перед императрицей, напоминая ей о заслугах литератора, и провоцирует ее тем самым на «щедроты», которые получает благодетельствованный клиент. Эти отношения патрона и клиента ясно видны и во многих письмах Ломоносова к И.И.Шувалову, М.И.Воронцову, а позднее Г.Г.Орлову, в которых он просит об «отеческом предстательстве», «милостивом и сильном ходатайстве» или «отеческом покровительстве» (см. хотя бы: Ломоносов, VIII, 124, 188, 214, 221, 246/X², 478, 520, 536, 539, 561). Именно благодаря этому «предстательству» Ломоносов получает в 1751 г. чин коллежского советника, а в 1757 г. назначение в советники Канцелярии Академии наук, что давало ему власть в административных и финансовых делах Академии (Ченакал 1961, 263; Пекарский, II, 609). Этой властью он пользуется широко и жестко, стремясь дискредитировать и лишить поддержки и своих ученых, и своих литературных недругов: в 1759 г. вместе с Таубертом отставляет от Академии Тредиаковского (Пекарский, II, 211), цензурует издававшийся Миллером «Ежемесячные сочинения», обвиняет Миллера в различных грехах (в «непозволительной переписке с чужестранцами», в написании статей о неприглядных периодах российской истории — Пекарский, II, 721—722) и пытается лишить его звания конференц-секретаря (там же, 728), пытается воспрепятствовать публикации «Трудолюбивой пчелы» Сумарокова, а затем не допустить напечатания в ней сумароковских вздорных од (там же, 653—655), пишет представление К.Г.Разумовскому об отдале И.И.Тауберта под следствием (Ломоносов, X², 246—250). Это стремление уничтожить соперников на литературном или ученом поприще, характерное огню не для одного Ломоносова, переносит в данную сферу борьбу придворных факций, выявляя при этом особо тесную (на европейском фоне) связь между литературой и двором как единственным значимым потребителем литературы. Патронат в русских условиях приобретает специфические черты, оставаясь между тем патронатом. Действительно, «патроном» называет Шувалова и сам Ломоносов в письме к нему от 15 августа 1751 г. (Ломоносов, VIII, 110/X², 470), возможно, не с тем же терминологическим значением, как современная социология литературы, но, несомненно, с оглядкой на европейский опыт патроната. На эти же отношения указывают и другие источники, так что в них, по справедливому замечанию В.Глисона, можно видеть «a classic example of how patron-client relations worked at Elisabeth's court» (Глисон 1981, 24).

В последние пять лет Елизаветинского царствования (1757—1761) Ломоносов, впрочем, пытается играть более самостоятельную роль, выходящую за рамки функций придворного поэта и полигистора. Его литературная продукция сокращается, зато растет объем административной деятельности. Опираясь на своих покровителей, он пытается, хотя и без успеха, навязать себя К. Разумовскому в качестве вице-президента Академии наук. Именно в это время он пишет Шувалову те гордые слова, которые так восхищали Пушкина (см.: Пушкин, VII, 196) — «Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дурак[ом] быть не хочу, но

ниже у самого Господа Бога, которой мне дал смысл, пока разве отнимет» (письмо от 19 января 1761 г. — Ломоносов, VIII, 229/X², 546). Тогда же Ломоносов пишет Г.Н.Теплову, призывая его «обратиться на правую сторону», т. е. перейти в его, Ломоносова, лагерь, и вновь декларируя свою независимость — «За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю» (письмо от 30 января 1761 г. — Ломоносов, VIII, 233–234/X², 553–554). У Ломоносова явно появляется новая дискурсивная стратегия, вступающая в определенное противоречие с ролью патронируемого литератора (ученого). Последним в этом ряду было представление Разумовскому об отдале Тауберта под следствие, написанное за несколько дней до смерти Елизаветы (но, видимо, неотправленное); в нем Ломоносов угрожает попавшему в немилость вельможе тем, что будет, по силе петровских указов, жаловаться императрице в обход него (Ломоносов, X2, 246–250)²⁹.

Этот рискованный опыт нахождения нового статуса продолжался недолго и окончился полной неудачей. Елизавета умирает, и в кратковременное царствование Петра III, обожателя Фридриха Великого и достоинств немецкой государственности, для гонений на немецких недоброжелателей Ломоносова и для культивировавшегося им патриотического дискурса обстановка была неподходящей. Ломоносову приходится вернуться к старым способам утверждения своего статуса, и он пишет оду на восшествие на престол Петра, в которой наряду с ожидаемым обращением к «Российской стране», которая встречает «Петра Великого обратно», упоминается «Голстиния», долженствующая возвеселиться, поскольку от нее «цветет наш Крин» (Ломоносов, II, 236, 243). После свержения Петра ситуация для Ломоносова становится еще более скверной, поскольку оба его патрона — и Шувалов, и Воронцов — теряют влияние и должны удалиться за границу. Ломоносов пыгается восстановить свое положение, обращая оду к Екатерине и послание к ее фавориту Григорию Орлову, но ни прежней власти в Академии, ни признания в качестве незаменимого описца вернуть ему не удастся. В отличие от Третьяковского и Сумарокова, Ломоносов, лишившись своего положения, не впадает в нищету и беспомощность. Однако ощущение выкинутого из жизни — лишенного социального статуса — человека мучит его не меньше, чем его парнасских собратьев. В черновых записях, сделанных незадолго до смерти (в 1765 г.) и предположительно представляющих собой план беседы с Екатериной II, он сетует: «Да все! и места нет. Нет нигде места и в чужих краях... Multa tacui, multa pertuli, multa concessi. За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro aris etc. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют» (Ломоносов, X², 357). Это речь человека, уходящего в прошлое, лишившегося прежнего положения, с сомнением заявляющего «может быть, понадаблюсь» (там же) и утешающего себя с помощью того самого имперско-патриотического дискурса, который он сам в значительной степени и создал (ср.: Берков 1936, 273).

Как и в случае с Третьяковским, выбранная Ломоносовым социальная модель в большой мере определяет тематический и жанровый репертуар его творчества. Более половины написанных им литературных текстов — это оды, т. е. панегирическая поэзия, посвященная торжеству государства. К одам примыкают — и по своей тематике и мотивике, и по своей функ-

ции — разнообразные надписи на фейерверки, надписи к статуям и т. п., жанровым коррелятом оды при обращении к частному лицу (не к монарху или члену императорского дома) являются послания различным вельможам. Панегирическую функцию выполняют два похвальных слова Ломоносова: Петру Великому и Елизавете. Зависимость от этой доминирующей литературной продукции заметна и в других произведениях Ломоносова, например в неоконченной героической поэме «Петр Великий» или в трагедии «Тамира и Селим», написанной по прямому приказанию императрицы. Тема просвещения присутствует во многих из этих текстов, но всегда как дополнительная, подчиненная теме государственного могущества и монарших щедрот. Показательно, что тема просвещения как государственной задачи и заслуги появляется у Ломоносова относительно поздно и в связи с внешними обстоятельствами. Впервые она звучит в известной Оде 1747 г., одним из формальных поводов для написания которой было дарование императрицей Академии нового устава. Только с этого момента появляется так называемая мусическая тема (см.: Пумпянский 1935, 128—130), слова о преуспевании наук в России, обещание богатств, которые наука способна принести империи, и упоминание «собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов, I, 152). Способ представления этой темы Ломоносов не придумывает заново, но берет из оды Юнкера Елизавете 1742 г., которую он сам в том же 1742 г. перевел; просвещение тем самым появляется как готовый элемент панегирического дискурса, опробованный и утвержденный наставником Ломоносова на поприще придворного поэта³⁹. Таким образом, дидактический момент, столь важный для Тредиаковского и Сумарокова, у Ломоносова почти полностью отсутствует: литература не воспитывает, а воспекает.

Вопрос о том, насколько однозначно вписывается литературная деятельность Ломоносова в роль придворного поэта или в отношения патрона — клиента, не может решаться простым наложением западноевропейского трафарета. Решая его, нужно учитывать специфические условия петербургского двора и особый социальный контекст литературной деятельности. В отличие от владетельных особ Германии или Италии или, скажем, Ришелье, Мазарини и Кольбера во Франции, российские императоры (императрицы) в послепетровское время и вплоть до 1770-х годов не нуждались в апологиях. У них просто не было потребности в доказательствах достоинств их политики, облеченных в литературную форму. Круг потенциальных читателей был слишком ограничен и слишком непосредственно связан с двором, чтобы литература как средство пропаганды приобрела в глазах самодержца или его министров хоть какую-то важность.

В. Глисон, описывая политические воззрения Ломоносова и Сумарокова, утверждает: «Despite the element of opportunism in their work, neither Sumarokov nor Lomonosov was simply a court poet whose verses were available on demand from the monarch. Lomonosov's odes were primarily exercises in comprehension and explanation and incidentally paeans to a particular ruler» (Глисон 1981, 33). На это можно посмотреть и иным образом: сколько-нибудь определенный спрос (demand) со стороны монарха отсутствовал. Елизавета ничего не заказывала Ломоносову, поскольку не могла и не собиралась использовать его оды в какой-либо политической функции.

Единственные литературные тексты, которые Ломоносов написал по прямому заказу двора, — это трагедии «Тамира и Селим» и «Демофонт». Трагедии, однако, были заказаны не потому, что в них возникла какая-либо политическая или идеологическая нужда, а потому, что, посмотрев «Хорев» Сумарокова, императрица увлеклась русским театром и решила разнообразить его чрезмерно ограниченный репертуар, задав работу подходящим служащим — академическим сочинителям Ломоносову и Тредиаковскому: новые пьесы нужны были для развлечения, а не для политики и оставались, по существу, поэзией на случай.

Политической роли русские придворные писатели не играли — ни при Анне Иоанновне, ни при Елизавете, — не играли ее даже в том ограниченном объеме, который был доступен их немецким коллегам, обращавшимся к достаточно широкой и политически влиятельной читательской аудитории и доказывавшим преимущества политики своего двора перед другими немецкими дворами. Конечно, и при немецких дворах поэзия рассматривалась прежде всего как изящное, но совершенно необязательное украшение; для Хр. Вайзе поэзия оставалась лишь второстепенным атрибутом воспитанности («политичности»), несерьезным препровождением времени, которое могло лишь сопутствовать другим более серьезным занятиям³¹. В России, не имевшей гуманистической предыстории, эта декоративная роль поэзии воспринимается как нечто само собой разумеющееся. От придворного поэта ожидали не политических деклараций, а панегириков, так что все ломоносовские оды были «*raeans to a particular ruler*», и вовсе не «*incidentally*», *incidentally* они могли быть как раз историческим построением или политическим комментарием. Именно потому, что панегирики не имели прямого отношения к политике, Ломоносов был относительно свободен в развитии своих исторических концепций и политических установок. Со стороны двора политические требования к одам ограничивались приятием самодержавия как самоочевидного принципа и трактовкой последнего дворцового переворота как спасения России; эти требования Ломоносов неукоснительно выполнял.

Отсутствие у литературы прямого политического задания сказывается и на отношениях между литераторами и их патронами. Несомненно, что эти отношения подчинялись логике клиентелизма, а не меценатства, так что попытки изобразить покровителей Ломоносова в виде бескорыстных ценителей литературы и учености искажают реальную картину, навязывая ей неадекватные категории. В принципе клиентелизм предполагает, что автор находится на службе у своего патрона и получает за эту службу регулярное вознаграждение (не обязательно из средств самого патрона), меценатство никаких обязательств на поощряемого автора не накладывает; посвятив свое сочинение какому-либо вельможе, автор получает от него (или не получает — меценат в этом вполне свободен) разовое вознаграждение, что их отношения и исчерпывает³². В интересующий нас период русские вельможи в качестве меценатов не выступают. Их поведение, однако, не соответствует и классической фигуре патрона (такого, как, скажем, Гастон Орлеанский, герцог де Лонгвиль или принц Конде). Русские патроны не содержат своих клиентов, а обеспечивают им милости двора (такая разновидность патроната была известна и в Западной Европе, ср., например, отношение Кольбера к Расину). При этом, однако, никакой видимой службы клиент для своего патрона не несет.

Таким образом, литератор не является литературным агентом своего патрона. Ломоносов или Теплов не пишут мазаринад, как Берто, и не вступают за своих впавших в немилость благодетелей, как это делал Пелиссон для опального Фуке. Объясняется это, надо думать, тем, что патроны не нуждаются в литературных агентах, а не какой-либо особой свободой или нонконформизмом русских литераторов. «The absence of literary support for Shuvalov's political interests» (Глисон 1981, 26), которое представляется В. Глисону свидетельством политической беспристрастности Ломоносова, скорее объясняется тем простым обстоятельством, что «литературная поддержка» ни в малой степени Шувалову не нужна, поскольку ни положение Шувалова при дворе, ни оценка его позиций политической элитой никак не зависит от ломоносовских од, даже если бы они превратились в памфлеты. В русских условиях клиент создает для патрона культурный престиж, но никаких конкретных политических услуг не оказывает. Естественно, что какое-то общее согласование позиций клиента с позициями патрона имеет место, но не более того. Можно привести пример «пацифистской» оды Ломоносова 1747 г.: превозношение благ мирного просвещения явно соответствовало в тот момент политической игре его тогдашнего патрона М.И.Воронцова, противившегося политическим планам канцлера Бестужева и выступавшего против участия России в войне за австрийское наследство. В царствование Елизаветы, однако, никакой публичной полемики о формировании политики не было — ни в этот раз, ни когда Шуваловы добивались участия России в Семилетней войне и потом защищали это малоудачное предприятие³⁹. В силу этого политические идеи ломоносовских панегириков оставались достаточно абстрактными и — как результат — достаточно стабильными. Никаких непоколебимых политических принципов, к которым Ломоносов хочет обратить своих читателей или специально власть имущих, за этим не стояло.

Ломоносов — наставник царей принадлежит не биографии, а мифологии Ломоносова. Как и другие составляющие ломоносовского мифа, этот элемент возникает достаточно рано и связан с переоценкой статуса литературы во второй половине XVIII в. Намеки на него появляются в уже упоминавшейся французской оде А.П.Шувалова на смерть Ломоносова, и мотивы Шувалова при этом не трудно разгадать. Шувалов, друг Вольтера, в Екатерининское царствование оказался вместе со всем своим кланом отстранен от государственных дел, поэтому он прокламировал свою независимость и, восхваляя Ломоносова (протезе своего дяди), как бы заявлял, что просвещение не есть монополия Екатерины, но движется гениями и их ценителями (т. е. Шуваловыми). Следующий панегирик Ломоносову пишет М.Н.Муравьев, разочарованный в екатерининском государственном просвещении. Просвещение, на его взгляд, должно идти не от властителей, а от просветителей, и Ломоносов нужен ему как иллюстрация этого тезиса. Поэтому он и пишет: «Повелители народов, наместники Божеския власти, градоначальники, притеките на глас гремящего витии, научитесь в стихах его должности своей» (Муравьев 1774, 13)⁴⁰. Последующие биографы и критики воспроизводят эту мысль в многообразных вариациях. Ни в биографии, ни в текстах Ломоносова доказательств для нее не находится. Каким бы чрезвычайным поэтическим талантом ни был одарен Ломоносов, простор для этого таланта был ограничен необходимостью утвердить себя как писателя и выбранной в силу этого ролью

придворного поэта. Культ Ломоносова, возникающий сразу же после его смерти, показывает, что преемники воспользовались его достижениями и ссылались на него всякий раз, когда доказывали право литературы на существование.

СУМАРОКОВ

В отличие от Тредиаковского и Ломоносова Сумароков был дворянского происхождения и из вполне преуспевающей дворянской семьи. Его отец Петр Панкратьевич владел полутора тысячами душ, что для первой половины XVIII в. было значительным состоянием, служил не в первых, но в достаточных чинах и об образовании своих детей заботился с убежденностью петровских людей, обнаруживших, что от этого может зависеть успех в жизни. В 1732 г. Сумарокова отдают в Сухопутный шляхетный корпус, устроенный Минихом по образцу аналогичных прусских заведений и предназначенный для столичной дворянской элиты. Таким образом, никакой социальной деадаптации Сумароков в молодости не испытывает, и не она приводит его к литературной карьере. Напротив, эта деадаптация появляется — подробно об этом будет говориться ниже, — как следствие профессиональных литературных занятий. Биография Сумарокова тем самым также может служить примером связи литературной деятельности с неопределенностью социального статуса и социальным экспериментированием, но связь эта — сравнительно с Тредиаковским и Ломоносовым — действует как бы в обратном направлении.

Сумароков начинает писать стихи еще в шляхетном корпусе, его песни пользуются успехом и распеваются в обществе. Он пишет и в других жанрах, сначала следуя версификационным предписаниям Тредиаковского, затем Ломоносова, с которым сближается в начале 1740-х годов. При всем этом литература остается для него «приятным упражнением». Кончив шляхетный корпус, он служит сначала у Миниха, затем у графа Головкина и А.Г.Разумовского, бывает в высшем обществе и дослуживается до чина бригадира. Литературная деятельность затягивает его постепенно, и это затягивание идет одновременно с формированием у него просветительской идеологии. Неясно, что здесь было следствием, а что причиной, однако литература и просвещение для Сумарокова непосредственно связаны: литература предназначена просвещать, и сама, в свой черед, оказывается основным орудием просвещения. К концу 1740-х годов, когда Сумароков начинает публиковать свои сочинения, эти установки в основном уже сформированы. В двух эпистолах, изданных в 1748 г. («О русском языке» и «О стихотворстве»), описывается план новой русской литературы с классификацией еще не появившихся в ней жанров и указанием их функций, и сам автор предстает как наставник этой литературы, предназначенной «просвещение дать уму». В 1747 г. Сумароков пишет свою первую трагедию «Хорев», и в ней уже заметны те схематические конфликты, на которых строятся и все последующие трагедийные опыты писателя: борьба тирании и закона, разума и страстей, любви и долга. Моралистический элемент выступает на первый план, потеснив элемент трагический. Дидактическая установка очевидна: трагедия учит зрителя «правильным» понятиям о чести, законе, разуме и власти. Трагедия была поставлена при дворе силами кадетов и, будучи первой русской настоящей

драмой, вызывала сенсацию и положила начало русскому театру как постоянному институту.

Итак, с конца 1740-х годов литература становится для Сумарокова основным занятием, и сам тот факт, что жизнь была поставлена на литературную карту, свидетельствует о некоторой экзажерации литературного сознания. Сумароков, конечно, человек Просвещения, однако с той лишь оговоркой, что Просвещение у него особое, российское, в котором свободная мысль поглощена утопией. Утопия — это именно то, что Просвещение противопоставляло традиции, именуя в своем дискурсе это противостоящее начало разумом. На Западе образующееся таким образом противостояние утопии и традиции было равновесным, разграничивающим, как это понимал Кант, сферы подчинения и свободной мысли (см.: Фуко 1984, 32—50). Просвещение в ряде сфер, и в частности в литературе, ослабляло давление традиции, и утопия создавала на этом освободившемся пространстве приволье для свободного ума. В русской литературе, однако, давление традиции отсутствовало, никакого сопротивления утопия не встречала и могла быть поэтому сколь угодно радикальной. Литература становилась не инструментом просвещения, а инструментом преобразования унаследованного порядка бытия. Ни для кого эта утопия не была столь осязаемой, как для Сумарокова. Свободное от традиции воображение рисовало ему роль создаваемой литературы как инструмента совершенной гармонии, а литератора — как творца, стоящего при дверях царства справедливости и нравственности. Именно отсюда его безмерное самомнение, над которым насмеялись современники и потомки, оно укоренено в утопическом сознании, выросшем на месте отсутствующей литературной традиции.

Именно утопическое величие целей побуждает Сумарокова расстаться с предсказуемой дворянской карьерой и вступить на путь литературы — «смененный» и шатающийся. Наличие в истории русской литературы первой половины XVIII в. дворянских имен — Кантемира и М.Собакина, В.Н.Татищева и В.Е.Адогурова — создает не совсем адекватное представление о всесословности литературного труда. Конечно, европеизированное шляхетство изящной словесности не чуждалось, европейский образец давал здесь слишком однозначные рецепты. Но, как мы уже видели, литературные занятия оставались для них приятным спутником жизни, и на собственно литературную карьеру они не претендовали³⁵. В конце 1740-х годов Сумароков явно делает иной выбор, и это показывает, что литературную деятельность он воспринимает не как просвещенное развлечение, но как школу, предназначенную создать нового просвещенного человека, точнее, просвещенного дворянина, и этот благородный труд не должен и не может быть отдан в руки плебеев, не способных понять требований дворянской чести. Замечу сразу же, что это понимание Сумарокова имело успех, и тот круг литераторов, которых Гуковский довольно неудачно назвал «дворянской фрондой», усвоил именно это представление «северного Расина».

Отступая от основной темы, позволю себе заметить, что в определенном смысле этот успех имел в истории русской литературы достаточно длительное продолжение. С некоторыми оговорками допустимо думать, что сумароковское понимание литературы как инструмента дворянского совершенствования, видоизменяясь и трансформируясь, определяло тем не менее социальную значимость этого рода деятельности вплоть до середины XIX в. Литература, которую Сумароков в молодые годы застал в виде

дела служивых плебеев, все более становится со временем занятием «аристократическим»; определенную роль в этом сыграли, нужно думать, и сумароковские притязания. Понимание функций литературы меняется, и самомнение Сумарокова вызывает у его потомков недобрую иронию (см. у Пушкина в «Путешествии из Москвы в Петербург» — Пушкин, VII, 195), однако литература делается дворянской. В 1825 г. Пушкин пишет Бестужеву: «Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. [...] Иностранцы нам изумляются — они отдадут нам полную справедливость — не понимая, как это сделалось. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными» (Пушкин, X, 115). Действительно, статистика, которую приводит В.Нахирны, показывает, что среди литераторов, родившихся между 1750 и 1799 гг., наследных дворян было 71,3%, и литераторы в этом отношении отличаются от художников и актеров (5,5% дворян), ученых (10,1% дворян), медиков (6,4% дворян), сближаясь с военной элитой (78,0% дворян) (Нахирны 1983, 28). Для первой половины XVIII в. подобную статистику дать невозможно — как в силу малочисленности объектов анализа, так и из-за неясности определения литератора; вполне очевидно, однако, что картина была принципиально иной. Сумароков, несомненно, приложил руку к этой трансформации³⁶.

Создать нового человека литература должна была воспитывая и просвещая. Просвещенческие идеи Сумарокова, которые он старается внушить своим современникам, на редкость незамысловаты, и это соответствует их утопизму (ср. откровенно утопическую статью Сумарокова «Сон — щастливое общество» — Сумароков, VI, 363—370; Малышев 1961, 354—357). Общественное благо охраняется монархом. Для того чтобы играть эту роль, монарх должен ограничивать себя законом. Верховенство закона обеспечивает просвещенное дворянство, без его надзора монархия превращается в тиранию. Поэтому основой общественного благополучия оказывается просвещенное дворянство, а его воспитание — первой потребностью общества. Непросвещенные дворяне, ставящие собственные страсти и интересы выше чести и долга, становятся льстецами, которые, вместо того чтобы поддерживать закон, совращают монарха с праведного пути. Схему этого совращения и его плачевные результаты Сумароков не устает демонстрировать в одной трагедии за другой. Пока дворянство не воспримет эти идеи, общество будет находиться в постоянной опасности. К дворянам Сумароков и обращается, особенно красноречиво, например, в сатире «О благодетстве» (1771 г.):

Сию сатиру вам, дворяня, приношу
Ко членам первым я отечества пишу.
Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают.

Эти многие, как тут же показывает Сумароков, на самом деле своего долга не знают и должны этому учиться:

А во учении имеем мы дороги,
По коим посклизнуть не могут наши ноги.

(Сумароков 1957, 189—190).

Обучением занимается литература, и это определяет ее значимость и социальный статус. В силу этого дидактика оказывается ее необходимым компонентом, а литератор, обеспечивающий воспитание дворянства, — основным агентом государственного процветания. Эту роль Сумароков себе и отводит, пытаясь играть ее всю жизнь и приходя в отчаяние оттого, что признания в этом качестве он не получает. Поначалу, однако, ожидания Сумарокова и составившегося вокруг него литературного кружка отличались поразительным оптимизмом. Как пишет Г.А.Гуковский, «предполагалось, что несколько литературных произведений могут успешно оздоровить общество. Автор «Драматического словаря» 1787 года считал, что Сумароков “много успел в разных своих сочинениях в рассуждении умягчения нравов” и что ему “воспитание много обязано”; он заявляет, что из-за стихов Сумарокова прекратились плутни подъячих, долгие тяжбы и т. д.» (Гуковский 1936, 38).

Несомненно, и Сумароков имел перед собою европейский образец, только в данном случае русская рецепция преобразила его сильнее, чем модель придворного поэта, по природе своей достаточно однозначную. Хотя Сумарокова часто называли русским Расином, его подлинным героем был не Расин, а Вольтер. От Вольтера, в частности, воспринимает он и морализм своих трагедий, Расину не свойственный (ср.: Гуковский 1926, 73–74). Для современников эта модель была достаточно очевидна. Так, Третьяковский в обращении к Сумарокову «Ответе на письмо о сафической и горацической строфах» 1755 г., заявляя (вряд ли, впрочем, искренне) о желании примириться со своим врагом, не вступать с ним больше в споры и «препровождать безмятежно остаточныя мои дни», соглашается отдать Сумарокову столь вожделенную для него роль русского Вольтера: «Верьте, я вас от всего сердца признаваю, понеже вам, как-видно, того только и желается, первенствующим нашим Волтером» (Пекарский, II, 256–257).

Конечно, Сумароков в роли Вольтера выглядит странно. Нужно помнить, однако, что для русских просветителей середины XVIII в. Вольтер был в первую очередь не отцом вольтерьянства, т. е. скептического свободомыслия (ср.: Карлинский 1985, 66), а апологетом разума и морали, наставляющим монархов и сражающимся с предрассудками и своекорыстием придворных «льстецов». При этом для западных просветителей, в том числе и для Вольтера, важно было просвещение общества в целом, т. е. распространение просвещения за рамки существующих элит. Этот процесс должен был гармонизовать общество и обеспечить взаимодействие всех социальных групп в утверждении разумного порядка. От просвещенной элиты, существование которой было само собой разумеющейся данностью, требовалось быть движущей силой этого процесса и бороться с той частью высшего общества, которая из-за своих «предрассудков» противилась распространению просвещения. В России именно этой элиты не существовало, поэтому Сумароков стремится не к распространению просвещения, а к созданию просвещенной элиты. В результате «русский Вольтер» и выглядит столь странным образом, соединя антиэгалитаризм (своего рода «рыцарскую утопию») с просвещением.

При дворе Елизаветы в Вольтере не нуждались, но ценили Сумарокова как устроителя театральных зрелищ. Поэтому в 1756 г. его назначают директором новоучрежденного императорского театра. Тем самым деятельность почти литературная сделалась прямой обязанностью Сумарокова,

что было им, видимо, воспринято как успех, который он и вознамерился использовать для просвещения общества и утверждения высокого статуса писательского труда. Двор явно не был к этому готов, и очень скоро на этой почве возникает первый конфликт. Театр, как и прочие дворцовые учреждения, находился в ведении гофмаршала Сиверса, Сиверс запретил копиистам, переписывавшим роли для театра, носить шпаги. Сумароков воспринял это как унижение служителей литературы, т. е. как пренебрежение социальным статусом литературы, а следовательно, и его, Сумарокова, социальным статусом. Таким образом, первые приметы социальной деадаптации появляются сразу же после того, как литература перестает быть для Сумарокова «приятным упражнением». Сумароков угрожает вообще расстаться и с театром, и с литературой, и пишет по этому поводу трогательные стихи «Расставание с Музами»:

Для множества причин
Противно имя мне писателя и чин;
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли
Во время пушего я жара моего,
И не взойду по смерть я больше на него, —
Судьба моей то доли.
Прощайте, музы, навсегда!
Я более писать не буду никогда.

(Сумароков 1957, 297).

С музами Сумароков не расстался, но это лишь обострило проблему социального статуса. Вопрос о статусе сталкивает Сумарокова с проблемой институализации литературной деятельности. 7 ноября 1758 г. он пишет И. И. Шувалову (по поводу своей полемики с Ломоносовым и Поповским о литературном первенстве): «Писатели стихов русских привязаны или к Академии, или к Университету, а я по недостойнству моему ни к чему и, будучи русским, не имею чести членом быть никакого в России ученого места. Да и нельзя, ибо г. Ломоносов меня до сообщества академического не допускает, а в Университете словесных наук собрания вам уставить еще не благоволилось» (Письма рус. писателей, 84). Сумароков противопоставляет себя здесь Ломоносову и Поповскому, один из которых был в Академии, а другой в основанном Шуваловым Московском университете, и указывает на свою неприкаянность.

Сумароков делает в это время и прямые попытки получить место в Академии, напоминая Шувалову, что тот ему изволил «предлагать об академическом месте, которое, кажется мне, и принадлежит несколько мне» (там же, 88). При этом он сравнивает свои заслуги с заслугами служащих в Академии и заключение из этого сравнения делает, естественно, в свою пользу: «Для чего, милостивый государь, и мне не быть таким же членом здешней Академии, какой он [Ломоносов] и какой г. Тауберт и г. Штелин? Мне мнится, что я не меньше их заслужил; да из них же двое немцев, а я русский. Или русскому стихотворцу пристойные членом быть Ученого собрания в немецкой земле, а в России — немцам? Мне кажется, что я не хуже аптекаря Моделя, хотя и не шарлатанствую, не хуже Штелина, хотя и русский стихотворец, и не хуже Ломоносова, хотя и бисера не делаю» (там же, 87). Сумароков упоминает здесь «ученое собрание в немецкой земле», имея в виду Лейпцигское литературное общество, в которое он был избран в 1756 г., и приравнивает его риторически к Академии наук, тем

самым обосновывая право литератора быть ее членом. При отсутствии других вариантов Академия становится суррогатом литературной институции, обеспечивающей социальный статус, — осознав себя литератором, Сумароков вырабатывает тот же подход, который мы уже наблюдали у Тредиаковского и Ломоносова. Так же как и два его соперника, Сумароков эту потребность в институализации формулирует вполне эксплицитно. В статье «Сон» 1760 г. в челобитной от Мельпомены к Российской Палладе говорится об «утеснениях», которым подвергаются «Российские Авторы» от «иноплеменников» (Сумароков 1760, 304, 318) и о «заведении Ученого во Словесных науках собрания, в котором бы старались искусныя Писатели о чистоте Российского языка и о возрождении Российскаго Красноречия», поскольку «такия собрания необходимо нужны; ибо без того Науки ни в котором государстве совершенного процветания не имели, и иметь не могут: да и под игом иноплеменников Науки успехов иметь не могут» (там же 318–319)³⁷. Места в Академии Сумароков, однако, не получает, а возникновение литературных институций остается в области утопий.

Мечтая об институализации литературы, Сумароков по видимости отказывается от модели литературного патронажа, он не хочет, как об этом писал Пушкин Бестужеву, «быть покровительствуем равными» (см. выше). Действительно, такого патрона, как у Тредиаковского, Теплова или Ломоносова, у Сумарокова нет, и он его не ищет (Булич 1854, 67–72). Его отношения с Н. И. Паниным строятся на иных основаниях; Панин поддерживает Сумарокова не как меценат, а как глава придворной партии, опекающий обширную клиентуру, никакого неперменного отношения к изящным искусствам не имеющую (см.: Рансел 1975). Равенства, однако, как и в случае с Пушкиным (Благой 1931, 24–35), не получалось. Само по себе дворянство равенства не создавало: старый служилый класс, хоть и стал осознавать себя в XVIII в. как благородное сословие, однако идентичность его оставалась размытой: новозаводное понятие дворянской чести (и корпоративной общности) создавало лишь мнимое равенство, декларировавшееся иногда идеологами этого понятия, но в реальном сознании наталкивавшееся на неравенство чина (Романович-Славятинский 1870, 58–73). Вельможа в случае о равенстве с упражняющимся в прозе или стихах дворянином не думал, а в таких условиях и этому дворянину идея равенства давалась с трудом.

Красноречивое свидетельство подобной коллизии находим в столкновении Сумарокова с графом Иваном Чернышевым, встретившим Сумарокова у И. И. Шувалова и обозвавшим его вором — видимо, из чистого желания оскорбить. Сумароков пишет об этом Шувалову в письме от 23 мая 1758 г.: «Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако офицер и службу без порока двадцать семь лет. [...] Кто думал, что это мне кто скажет когда-нибудь потому только, что он больше моего чину и больше меня поступи по своему счастью имеет! Что он меня всем лучше, как он сказывал, я ему в том уступаю, хотя я клянуся, что я этого не думаю. Однако *de traiter les honnêtes gens d'une telle façon* и говорить: ты вор — *ce peut alarmer tout le genre humain* и *всех qui n'ont pas le bonheur d'être les grands seigneurs comme son excellence mr. le comte Tcher. qui m'a donné le titre d'un voleur, titre très honorable pour un brigadier et encore plus pour un auteur des tragédies, à présent je vois, monseigneur, que c'est peu d'être poète, gen-*

tilhomme et officier. Je n'ai pas dormi toute la nuit et j'ai pleuré comme un enfant, не зная, что зачать» (Письма рус. писателей, 78).

Как замечает Г.А.Гуковский, «удивительна в этом письме смесь нового представления о дворянском гонимом со старозаветным рабством. Сумароков уже знает, что оскорбление словом непереносимо для дворянина, что оскорбление действием для него хуже смерти, он апеллирует к понятию "честной крови" — характерная формулировка сословного признака "благородного" — и к клятвам своею честью. А в то же время он только плачет как ребенок и "не знает, что зачать", — не может "вздумать, что делать" в таком случае. Пройдет два-три десятилетия, и дворянин, вскормленный культурой, начинателем которой и был Сумароков, не будет сомневаться, — он твердо усвоит необходимость кровавого "удовлетворения" за оскорбление дворянину. [...] Но Сумароков, видя, что он ошелмлен, и не ищет удовлетворения по той причине, что он был во дворце и у Шувалова и боялся "прогневить" вельможу. Кроме того, Чернышев мог не принять вызова Сумарокова и, может быть, поступить с ним "деспотически". Положение, значит, объективно было такое, что Сумароков, хоть и дворянин, не был равен Чернышеву, и не потому, что тот был титулован, а потому, что был именно граф, т. е. принадлежал к жалованным властителям страны [...] потому что он был камергер, вельможа в силе при дворе. [...] Он требует равенства с Чернышевым как дворянин [...] но наталкивается на грубую реальность» (Гуковский 1936, 50—51)³⁸.

Дворянское неравенство, однако, — лишь один из аспектов разбираемой Гуковским коллизии. Очевидно, что «грубая реальность» плохо согласовалась с той утопией дворянского «щастливого общества», которую рисовал и проповедовал Сумароков. Сумароков в письме напоминает, что он не только бригадир, но и «автор трагедий», т. е. находит нужным подкрепить свою дворянскую честь индивидуальными достоинствами: чином и — lo and behold! — литературными трудами. Как мы уже говорили, литературную деятельность Сумароков рассматривает как прямую службу отечеству; такая служба (служение) требует не покровительства вельмож, а поощрения монарха, причем поощрение относится скорее к числу монарших обязанностей, нежели «щедрот». Литератор, будучи воспитателем дворянства, должен стоять в непосредственной близости к верховному правителю, что, естественно, исключает патронаж частных лиц, но предполагает патронаж монарха. Видимо, и здесь Сумароков мог оглядываться на Вольтера и прежде всего на отношения последнего с Фридрихом Великим, наградившим Вольтера и чином, и орденом, и — как, видимо, полагал Сумароков — равенством с вельможами.

Не найдя Фридриха в Елизавете, Сумароков сблизился с так называемым «молодым двором», т. е. двором будущей императрицы Екатерины II (ср.: Рансел 1975, 54—56). Екатерина культивировала просвещение, поддерживала отношения с французскими просветителями и, как, видимо, надеялся Сумароков, нуждалась в своем Вольтере. Поэтому, когда в 1762 г. Екатерина взошла на престол, Сумароков был уверен, что наконец наступило его время и воспитание дворянства будет поручено ему как государственная миссия. Кое-что императрица для него сделала; она вообще в первые годы после переворота щедро расплачивалась с теми, кто ее поддерживал. По ее указу списаны долги Сумарокова Академии наук, Академии предписано печатать все его сочинения за счет двора, а сам Сумароков сде-

дан действительным статским советником. Екатерина поручила ему подготовить к ее коронации в Москве в 1763 г. грандиозный маскарад «Торжествующая Минерва». Сумароков считал это подходящим поводом, чтобы продемонстрировать широкой публике просвещенные принципы нового царствования. Здесь он, однако, перестарался, слишком резко ополчившись на нравы традиционной элиты. Екатерина вовсе не хотела создавать себе новых врагов ради просвещенческих принципов и запретила один из написанных Сумароковым хоров. Сумароков обиделся, и в переделанном тексте цензурованный соловей вместо перечисления пороков весьма выразительно поет:

За морем, хам, хам, хам, хам, хам, хам.
Хам, хам, хам, хам, за морем, хам, хам, хам.
За морем, хам, хам, хам, хам, хам, хам.

(Сумароков 1957, 279).

Таким образом, если Екатерина и признает важность литературы, то лишь в той мере, в которой она подчиняется нуждам ее политики. С Вольтером она поддерживает отношения, но Вольтер далеко и, создавая императрице репутацию просвещенного монарха, нисколько не мешает ей действовать у себя так, как она считает нужным. Домашний Вольтер не нужен ей совершенно, и Сумароков в этом очень скоро убеждается. Собственно, вопрос о том, какую роль он должен играть при дворе Екатерины и какой социальный статус должен сопутствовать этой роли, встает сразу же, еще в те дни, когда Сумароков пользуется полным расположением императрицы. В 1764 г. он пишет Екатерине: «Я в прочем не имею никакого места и должности. Я ни при военных, ни при штатских, ни при придворных, ни при академических делах, ни в отставке. Я приемлю дерзновение в. и. в. принести мою просьбу, дабы мне учинено было что-нибудь, чтобы я знал, что я. Ежели я в отставке, так следует мне чин, ибо я от графа Разумовского, исполняя беспорочно службу мою, без обыкновенного награждения чина отбыл, а от театра также, хотя сколько я России по театру услуги сделал, и вся Европа ведаёт, а особливо Франция и Вольтер» (Письма рус. писателей, 96). Литературные заслуги, подтвержденные европейской репутацией и одобрением Вольтера, требуют, на взгляд Сумарокова, прямого вознаграждения: создатель российского театра должен получить продвижение в социальной иерархии, определяемой чином. Как, однако, должна быть определена литературная служба, как военная, штатская, придворная или академическая — Сумароков не знает, и этот вопрос о социальном статусе («что я») обращает к императрице. Внятного ответа он не получает.

Г.А.Гуковский рассматривал отношения Сумарокова и Екатерины как прямую проекцию отношений императрицы к Панину и панинской партии. По его мнению, «Сумарокова одергивали каждый раз, как только он хотел слишком явно выступить от лица правительства с заявлениями в духе панинских проектов. Получалось так, что и в литературной пропаганде победа партии Паниных и Сумарокова была урезана с самого начала» (Гуковский 1936, 179). Кроме уже упоминавшегося эпизода с «Хором ко превратному свету», Гуковский приводит еще три случая цензурного вмешательства двора — ненапечатание слова на коронацию Екатерины (никакого официального запрета до нас не дошло), сожжение сумароковской

оды польскому королю Станиславу Понятовскому (причины неизвестны), запрет басни «Два повара», в которой в неблагоприятном виде был изображен кн. Я.П.Шаховской (как раз связанный с Паниным). Видеть в этих разрозненных фактах целенаправленное противодействие Екатерины Сумарокову как идеологу панинской партии было бы натяжкой. Екатерина «одергивала» Сумарокова так же, как она «одергивала» многочисленных других своих сторонников, которые полагали, что это они возвели ее на трон или во всяком случае были причастны к успешному захвату престола (так, например, было с Е.Р.Дашковой, несомненно куда более влиятельной, чем Сумароков).

То, что выделяло Сумарокова из числа обиженных утверждавшей свое единовластие Екатериной, был его статус литератора. Ставя на место Сумарокова, Екатерина ставила на место и литературу как общественное занятие. Литература в качестве основного орудия государственной политики представлениям Екатерины явно не соответствовала, и именно на этой почве развивался конфликт Сумарокова с императрицей. Екатерина относилась к литературе с куда большим интересом, чем Елизавета, и, как показывают ее собственные литературные опыты, видела в ней подспорье своей политике, однако в репертуаре средств преобразования общества отводила ей безусловно не главное место³⁹. Поэтому притязания Сумарокова на ведущую роль в формировании нового государственного дискурса не могли не вызывать у нее раздражения. По поводу басни «Два повара» она поручила А. В. Олсуфьеву образумить автора и исправить текст и при этом предупреждала его: «Взвесьте хорошенько ваши выражения, потому что мы имеем дело с горячей головой, которая начинает терять смысл, если уже давно не потеряла его. Однако сделайте так, чтоб он поправил свои глупости или поправьте их сами» (Гуковский 1936, 182). Еще более красноречиво ее наставление Павлу, впрочем, апокрифическое: «Бойся писателей и сошли в Сибирь первого из них, вздумавшего казаться государственным человеком» (Семенников 1923, 39).

В 1769 г. после нескольких горьких уроков Сумароков решает покинуть Петербург и переселиться в Москву. В Москве он, видимо, надеется получить признание не от разочаровавшей его императрицы, а от дворянского общества, которое он будет исправлять и просвещать, руководя московским театром. Впрочем, и императрица должна понимать, что в Москве Сумароков осуществляет государственную миссию. В письме Екатерине от 4 июня 1769 г. он заявляет: «А здесь театр надобнее еще, нежели в Петербурге, ибо и народа и глупостей здесь больше. Ста Молиеров требует Москва, а я при других делах по моим упражнениям один только» (Письма рус. писателей, 122). И в Москве, таким образом, его поведение определяется представлением о собственной литературной деятельности как государственной миссии.

Всего ярче это проявляется в известном столкновении Сумарокова с московским главнокомандующим графом П.С.Салтыковым в 1770 г. (описание этого столкновения см.: Лонгинов 1871, стб. 1670–1685). Салтыков в силу не до конца известных нам причин распорядился дать представление сумароковского «Синава и Трувора», хотя актеры пьесу недоучили и провал был неминуем. Сумароков пытался возражать, основываясь, в частности, на своем контракте с владельцами театра Бельмонти и Чинти; в нем оговаривалось, что пьесы Сумарокова не могут играть без согласия ав-

тора, который сам учил актеров дикции и следил за соответствием исполнения авторскому замыслу. Салтыков на Сумарокова разгневался, велел играть спектакль, а Сумарокову (по его же свидетельству) прокричал: «Нет тебе дела до представлений и актеров; не учи их, как играть; им я приказываю» (Письма рус. писателей, 127). Не помогли и ссылки на контракт. Салтыков, по словам Сумарокова, «ни моего прошения, ни отговорки содержателей, ни неудобности от актеров, ни святости контракта не принял, крича еще публично при обер-полицмейстере: “Я контракты передеру”. А когда я представлял, и обер-полицмейстер — я, что я к в. в. мою жалобу отправлю, а он, что о том в главную полицию станет писать, ибо святость контрактов и установление законов нарушается, — так он отвечал: “Пишите, куда хотите”, — ответ весьма непристойный» (Письма рус. писателей, 131). Доведенный до отчаяния Сумароков немедленно обращается к императрице и за пять недель пишет ей четыре пространных письма с изложением всех деталей ссоры и присовокуплением патетических стихов с сетами на Москву и человеческую неблагоприятность:

Сбираются ругать меня враги и други;
 Сие ли за мои, Россия, мне услуги!
 От стран чужих во мзду имею не сие.
 Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое.

 Терпение мое преходит все границы;
 Подвигни к жалости ты мысль императрицы!

 За труд мой ты, Москва, меня увидишь мертва:
 Стихи мои и я — наук злодеям жертва.

(Письма рус. писателей, 133).

Риторическая стратегия, которой следует Сумароков, убеждая Екатерину вмешаться и защитить права литератора, соединяет несколько линий аргументации. Поэт взывает к императрице, апеллируя и к своей высокой миссии, и к обычаям государственного патроната в цивилизованном государстве (имея в виду Рим Августа и Францию Людовика XIV), и к своим юридическим правам и универсальности закона. Трудно сказать, какая из этих линий аргументации проводится Сумароковым наиболее последовательно, он явно мечется, не зная, что еще могло бы помочь. Основной момент состоит для него, однако, в том, что статус литератора должен быть столь же высок, как и статус вельможи, поскольку заслуги поэта перед монархом и государством не меньше, если не больше, чем заслуги государственного деятеля или полководца. Поэт, приносящий своей стране бесмертную славу, должен быть опекаем властью и законом. Именно эту мысль он стремится внушить Екатерине.

М. Левитт, посвятивший столкновению Сумарокова с Салтыковым отдельную работу (Левитт, в печати), видит в усилиях Сумарокова начало борьбы за авторские права писателя, в особенности за авторские права писателя театрального. Действительно, во всей Европе XVIII столетия проблема авторских прав не была окончательно урегулирована, а Россия с относительно неразвитым книжным рынком отставала здесь от таких стран, как Англия и Франция (первый закон об авторском праве появился в России в 1828 г.). С правами на постановку пьес дело повсеместно обстоит еще хуже, чем с правами на публикацию: драматург мог продать пьесу оп-

ределенной театральной труппе, однако никакой платы за представления не получал, а после того как пьеса была напечатана, ее мог ставить кто угодно, не платя ничего. В контракте Сумарокова с Бельмонти и Чинти речь о денежной компенсации за представления не шла, Сумароков лишь оговаривал свое право наблюдать за постановкой и давать на нее согласие. Когда «Синав» был поставлен против воли автора, Сумароков и в самом деле пишет Екатерине, что «собранные деньги за “Синава”, ибо против воли моей контракт Бельмонтием нарушен, должен получить я» (Письма рус. писателей, 132). В этих словах вряд ли можно видеть попытку утвердить отчисление гонорара из театральных сборов как новую легальную норму, скорее речь идет о компенсации за ущерб, понесенный в результате нарушения контракта⁴⁰. Эти аргументы играют, видимо, у Сумарокова подчиненную роль. Они подчеркивают контраст между бедственным положением писателя и его всемирной славой, демонстрируя императрице, что просвещенная Россия не проявляет достаточной заботы о знаменитом авторе, закон его не защищает, и он живет почти в нищете, тогда как другие пользуются плодами его трудов. Неправедные доходы Бельмонти оказываются метафорой тех нематериальных благ, которые получает Россия благодаря Сумарокову, не вознаграждая его за его заслуги.

Не формулирует Сумароков и однозначной модели патроната, которая соответствовала бы тому статусу литератора, на который он претендует. Как уже говорилось, частный патронат (в форме ли клиентелизма или в форме меценатства) он определенно считает не подходящим к высокой миссии литературы. Необходимость же государственного патроната он рассматривает как само собой разумеющуюся. Он ссылается, как справедливо отмечает М.Левитт, на примеры Рима в правление Августа (Письма рус. писателей, 142, 163) и Франции в правление Людовика XIV (Письма рус. писателей, 108), но о конкретных формах государственной поддержки литературы (например, о государственных пенсиях, введенных в качестве регулярного института Кольбером) ничего не говорит. Подобные конкретные указания плохо согласовались бы с основной риторической установкой Сумарокова. Утверждая, что «сам Волтер единый с Метастазием из современников моих достойный мне совместник» (Письма рус. писателей, 108), Сумароков стремился доказать, что он достоин тех же милостей, что и вельможа и полководец (поскольку «Расин, Лабрюер и де ла Фонтень преумножили чести Франции и чести владению Людовика, и не меньше, нежели победоносное его оружие» — там же), а форму этих милостей оставлял на усмотрение власти.

Именно в силу этого Сумароков ставит Екатерину перед выбором — он или Салтыков. «Что он почтен славою и услугами России, отличен чином и достойнопочитаемою старостию, это я, всемилостивейшая государыня, — пишет он императрице, — всегда в свежей сохранил памяти; но и он должен был не забыть того, что и мне уже пятьдесят два года и что и я заслужил себе в Европе к чести моего отечества также немало славы, в чем я ссылаюсь на сто или более на разных языках себе прославлений, а сие прославление основано на не пустой молве, но на самой истине. *Sophocle, le prince des poètes tragiques qui était en même temps le général des Athéniens et camarade de Periclès, est encore plus connu sous le nom de poète qu'en qualité de général. Rubens était ambassadeur; mais il est plus connu sous le titre de peintre; d'être un grand capitaine et vainqueur est un grand titre, mais d'être*

Sophocle est un titre qui n'est pas moins — а особливо в таком веке и в таком народе, где науки едва еще посеяны» (Письма рус. писателей, 138—139).

Екатерина свой выбор делает, — как нетрудно догадаться, в пользу Салтыкова. Претензии Сумарокова она рассматривает как безумие и на его письме замечает: «Сумароков без ума есть и будет» (Бартенев 1860, 246; ср.: Письма рус. писателей, 211). Самому же Сумарокову она пишет: «Фельдмаршал желал видит трагедию вашу; сие вам делает честь. Пристойно было в том удовольствоват первого на Москве начальника. Естли же граф Салтыков заблагорассудил приказат играть, то уже надлежало без отговорок исполнить его волю. Вы более других, чаю, знаете, сколь много почтения достойны заслуженные славою и сединой покрытые мужия и для того советую вам впред не входит в подобные споры, чрез что сохраните спокойство духа для сочинения, и мне всегда приятнее будет видит представлении страстей в ваши драммы, нежели читать их в писмах» (Письма рус. писателей, 211). Екатерина, таким образом, вполне отчетливо указывает на то место, которое литература занимает в ее иерархии ценностей и призывает Сумарокова умерить свои претензии и эту иерархию признать. На дальнейшие возражения Сумарокова она не отвечает и велит своему секретарю Козицкому написать, что отвечать не будет (Письма рус. писателей, 212), демонстрируя тем самым, что ее мнения оспориванию не подлежат.

В какой мере Сумароков усвоил данный ему Екатериной урок, определить трудно. В позднейших письмах Екатерине и Потемкину Сумароков пишет о себе несколько скромнее и заслуги литератора с заслугами полководцев больше не сравнивает. В основном же письма эти полны просьбами о финансовой помощи, о том, чтобы были заплачены его долги или выдано вперед жалование; за эти милости Сумароков готов отплатить своими творениями. Как он пишет в одном письме Екатерине, «[а] проценты в казну будут стихами, которые всеконечно и самой выданной суммы стоить будут» (Письма рус. писателей, 153). Определенные суммы он от императрицы получает, хотя и явно недостаточные для того, чтобы обеспечить ему безбедное фернейское существование. Сумароков бедствует, в постскриптуме к одному из писем Екатерине он жалуется: «Я не имею столько денег, чтобы мне заплатить на почту за письмо. Et je tombe en défaillance, il faut encore que je compose aujourd'hui les vers» (Письма рус. писателей, 168). Нельзя сказать, что Сумароков в свои последние годы теряет творческие силы, он продолжает чрезвычайно много писать, издает три тома своих духовных стихотворений, том сатир, том торжественных од, том эклог и том элегий любовных, занимается театром, кончает «Дмитрия Самозванца» и пишет «Мстислава». Таким образом, нередко повторяемое суждение Н.Булича, согласно которому «[с] 1771 года, со времени ссоры с Салтыковым [...] начинается печальный перелом в жизни Сумарокова и все клонится к окончательному упадку нравственных и физических сил» (Булич 1854, 76), не может быть принято без существенных оговорок.

Тем не менее ощущение ущербного статуса и сопутствующей ему бедности несомненно угнетает Сумарокова и разрушительно действует на его личность. Вторым и третьим браком он женится на крепостных, метафорически дополняя ущербность социального статуса литератора дискредитацией своего дворянского достоинства. Это свое падение Сумароков бе-

зусловно осознавал и, по свидетельству современников, нередко саркастически повторял: «Тесть мой, кучер, не сломил мне головы, а дядя мой, повар, не окормил меня: свой своему по неволе друг» (Булич 1854, 76). Та напасть, которая преследовала Ломоносова с юности, приходит к Сумарокову в старости. «Современный Сумарокову биограф, — пишет Булич (1854, 81—82), — говорит, что главной причиною его смерти была невоздержанность. Невоздержанность эта, как известно, заключалась в неумеренной привязанности к вину. До какого нравственного упадка дошел Сумароков, можно видеть из разных современных свидетельств»; и здесь Булич ссылается на известный анекдот, рассказанный М.А.Дмитриевым в «Мелочах из запаса моей памяти»⁴¹. Сумароков, таким образом, приходит к тому жизненному неустройству, которое его соперники на литературном поприще испытывали многие годы. В 1777 г. Сумароков умирает в нищете и несчастьи, хоронят его на свои средства московские актеры, они одни и провожают его до могилы.

Из трех отцов новой русской литературы Сумароков ставит перед собой наиболее амбициозные в социальном отношении задачи. Он не только пытается доказать право литературы на существование, а писателя — на особый социальный статус, он хочет поднять этот статус до положения учителя жизни, которого общество слушает, как оракула. Литература в принципе должна регламентировать все стороны жизни образованного общества. Этот универсализм претензий обуславливает широту жанрового репертуара Сумарокова: трагедия учит высоким чувствам, а комедия и сатира бичуют пороки, элегии и эклоги наставляют в искусстве любви, духовные оды — в вере. Русское общество Сумароков воспринимал как невосделанную почву, «где науки едва еще посеяны», и, ставя перед собой цель образовать нового просвещенного человека, стремится воздействовать на него во всех его жизненных ипостасях. Если вспомнить отношение общества к писателю во второй половине XIX в., в этих претензиях можно увидеть предвосхищение будущего. В середине XVIII в., однако, общество к такому восприятию не готово, и платит Сумарокову тем большим отчуждением, чем больше его притязания. В случае Сумарокова социальная деадаптация становится, таким образом, не причиной, а следствием литературной деятельности, и это с особой очевидностью указывает на ущербность социального статуса литературы и литератора.

* * * * *

Как известно, отцы-основатели новой русской литературы ожесточенно спорили о том, кто из них был подлинным родителем, а кто лишь присутствовал при зачатии. Все трое при этом были уверены, что родилась именно новая литература, не имеющая отношения к тому, что было до них. Это и превращало их в мифологизированных творцов из ничего. Общее ощущение абсолютной новизны возникало у них, видимо, в силу того, в частности, что литературная деятельность была для них социальным экспериментом, поглотившим всю их жизнь. Поэтому и спор шел не только о том, кто первым реформировал стихосложение или распространил тот или иной жанр, но по существу и о том, каков должен быть социальный статус их детища. В столкновении общих концепций литературы, одушевлявшем эти споры, в качестве постоянной фоновой проблемы стоял вопрос о месте литературы в обществе.

Сумароков, критикуя поэтику возвышенного в одах Ломоносова, заявляет (в статье «К бессмысленным рифмотворцам» 1759 г.): «[Н]екоторые Лирические стихотворцы рассуждают тако, что никак невозможно, чтоб была ода и великолепна и ясна: по моему пропади такое великолепие, в котором нет ясности. [...] Что похвальней естественныя простоты, искусством очищенной, и что глупее сих людей, которые вне естества хитрости ищут? Но когда таких людей много, слагайте, бессмысленные виршесплетатели, оды; только темные пишете» (Сумароков, IX, 277). Формулируя данный эстетический принцип, он не только противопоставляет свою «более аутентичную» версию классицистического стиля ломоносовской пышности, но и утверждает свой критерий оценки литературного творчества. Если социальный статус литературы определяется ее дидактическим заданием, необходимостью просвещать и учить, то ясность не может не быть ее важнейшим атрибутом.

Когда Тредиаковский пишет в 1750 г. подробный разбор литературной продукции Сумарокова, он указывает прежде всего на многочисленные погрешности автора в языке и композиции и на мелкие ошибки фактического характера. На первый взгляд это может показаться бессмысленной критикой педанта, не ставящей никаких принципиальных вопросов (Сумароков так ее, может быть, и воспринял). Однако все эти мелкие замечания позволяют Тредиаковскому сделать вывод, что Сумароков «не обучался... надлежащим Университетским образом Грамматике, Реторике, Поэзии, Философии, Истории, Хронологии и Географии, без которых не только великому Пииту, но и посредственному быть невозможно» (Куник 1865, 496). Таким образом, необходимым компонентом литературы оказывается ученость, поскольку именно она отличает мудреца от профана. Гуманистическое понимание литературы противопоставляется здесь эмансипации эстетического начала, однако гуманистическая концепция сопровождается социальными притязаниями. Только ученость сообщает, на взгляд Тредиаковского, тот необходимый исторический и литературный опыт, который дает писателю возможность судить о своем времени и быть наставником народа. Труд профана наставлять не может, а потому набор «просвещающих» жанров у Тредиаковского осознанно противопоставляется той парадигме, которую создавал Сумароков. В предисловии к «Тилемахиде» (в которой пафос гуманистического просвещения пронизывает весь текст от первой песни до последней), Тредиаковский как бы à propos замечает: «[П]реднамеренная польза исправления Нравов, едваль когда и где происходила от Драм, но везде напротив повреждение большее и неминуемое, да притом и Личные, обиды, коим пример у злодушнаго Шпыня и Кошута Аристофана благонавному оному Сократу, от Драматистов, и от братьников им Сатуриков...» (Тредиаковский 1766, I, LIV). Комедии и сатиры, лишённые ученой важности, исправлять нравы не могут, а потому труды их авторов (в первую очередь подразумевается, естественно, Сумароков) полны лишь ложной претензией, поскольку приносят не просвещение, а личные обиды (подразумеваются, очевидно, нападки Сумарокова на Тредиаковского в «Тресотиниусе» и «Чудовищах» — ср.: Гринберг и Успенский 1992). И у Тредиаковского, таким образом, эстетические принципы и жанровые предпочтения оказываются непосредственно связанными с общей концепцией литературы и представлениями о ее социальном статусе.

Наконец, когда Ломоносов в 1760 г. возмущается речью Лефевра, в которой Сумароков в паре с Ломоносовым был назван «*génie créateur*», он заявляет, что Сумароков в литературе ничего не сделал, потому что свои трагедии надергал у французов, в одах неудачно подражал Ломоносову, а в остальном писал безделицы, недостойные внимания: «*Génie créateur: сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что и вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкеры, кадеты и гвардии капралы, так ему последуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит. Génie créateur*» (Ломоносов IX², 635). В этом пассаже Ломоносов указывает на социальный адресат сумароковской поэзии — дворянскую молодежь, и скрытым образом противопоставляет его легкомысленное творчество своему собственному (это та же концептуальная оппозиция, которая в ином виде дана в «Разговоре с Анакреонтом»). Собственные сочинения, реализующие, на его взгляд, идею подлинной литературы, представляются ему при этом не продукцией придворного поэта, а государственной поэзией. Литература, согласно этой концепции, прославляет мощь и величие империи и в силу этого является необходимым атрибутом процветающего государства. Социальный подтекст этой полемики очевиден.

Наши персонажи — все трое — были экспериментаторами, причем не только в области литературной формы, но и в области социальной. И во всех трех случаях эксперимент был неудачным, причем не только в том смысле, что он обернулся для них психологическим надрывом и бесконечными жизненными неурядицами, но и в смысле прямого результата: сколь ни были различными их концепции социального статуса литературы, ни одной из них не было суждено реализоваться. Литература, развившаяся на созданном ими фундаменте, получила определенный социальный статус, однако не тот, который они замыслили. Другого и не могло быть, поскольку при всех различиях их замыслы укладывались в социальные установки Просвещения и скорый его конец предопределил новое понимание литературы и новую организацию литературной жизни. Их опыты тем не менее не пропали даром. Следующее поколение литераторов опиралось на них как на прецеденты, востребуя для себя те литературные позиции, которые занимали их предшественники (Петров — позицию Ломоносова, Княжнин — Сумарокова и т. д.). Они могли их переосмыслить или комбинировать (например, Херасков — позиции Сумарокова и Третьяковского), но не изобретать заново и не приходить в отчаяние, не встречая понимания. Литература превратилась из эксперимента в реальность. Неблагодарное потомство перестало понимать те трудности, с которыми сталкивались первопроходцы, перестало воспринимать социальный подтекст их творчества и создало применительно к своим новым вкусам их мифологизированные биографии. Это и было наградой за их труды — той, которую обычно получают пролагатели новых путей.

Примечания

- 1 О стратификации общества в XVII в., в том числе и стратификации, законодательно закреплённой, ср.: Хелли 1978; о развитии этих процессов в Петровскую эпоху ср.: Анисимов 1982; важно иметь в виду ту роль, которую играло в этом процессе жестко регламентированное государством профессиональное образование (Владимирский-Буданов 1877, 88–145), право на получение которого определялось происхождением; это право, впрочем, было в то же время и обязанностью.

- 2 В. Глисон отмечает, что «the use of literary skills to enhance one's political standing was a common practice among eighteenth-century Russian writers». Он приводит ряд примеров такой торговли талантом. «Fonvisin, for example, published several translations to certify his linguistic skills before Golitsyn offered him his first appointment, he translated *Alzire* in 1763 and, within a year, was rewarded with a promotion in rank; and his career was furthered by *Brigadier*, written by 1769 when he was again promoted. The same timing of literary work and bureaucratic promotion was evident in Bogdanovich's career» (1981, 116). Аналогичные факты отмечает Глисон и в биографиях Ржевского, С. Нарышкина, Домашнева и Павла Фонвизина. Он говорит, правда, что в отличие от Фонвизина и Богдановича цель этих последних состояла только в том, чтобы «to find sinecures that facilitated their literary endeavors which, in turn, won them additional notice and promotion» (1981, 117), в то время как Фонвизин и Богданович оставались идеалистами, стремившимися прежде всего к установлению гармонических отношений между своими нравственными идеалами и своим социальным поведением. Это противопоставление не кажется бесспорным, но — как бы то ни было — во всех этих случаях работает один и тот же механизм, который связывает литературные занятия с общественным успехом, и с точки зрения социологии литературы именно этот механизм имеет принципиальное значение.
- 3 Так, скажем, любовная лирика в Западной Европе XVII в., несомненно, входила в репертуар литературного творчества и соответствующие тексты были важным компонентом в образовании личности автора. В России первые тексты этого рода появляются лишь в конце XVII — начале XVIII в. (ср.: Майков 1889, 229—233, 214—215 — имею в виду стихи, найденные у Ф. Цезя, или поэтические опыты Е. Столетова), однако вплоть до появления «Езды в остров любви» Тредиаковского эти тексты остаются в сфере частной жизни и как часть публичного выражения авторства не воспринимаются.
- 4 Этот список сохранился, см.: ГИМ, Чертк. 337. См. его описание с замечаниями о предисловии и дарственной надписи Тредиаковского: Успенский 1985, 111—112; Черниловская и Шульгина 1986, 85; Успенский и Шишкин 1990, 105—106.
- 5 О рецепции Бовы в XVII — начале XVIII в. и о последующем переосмыслении этого литературного опыта см.: Серман 1985 и указанную в этой работе литературу. О выборе для перевода «Езды» В. Н. Топорова замечает: «Это сочинение Талемана было выбрано не случайно, но после долгого размышления ("думал я долго что какую бы то книжку Французскую начать переводить"), и этот выбор делает Тредиаковскому большую честь: трудно было бы найти во французской литературе среди того, что имело хождение в первой четверти XVIII в. в читательском кругу, книгу (кстати, вышедшую многими изданиями), которая, будучи переведена, могла бы рассчитывать на столь большой, скорее всего сенсационный успех, как любовно-аллегорический, стихотворно-прозаический роман Талемана» (Топоров 1996, 612). Я не уверен, в отличие от В. Н. Топорова, что выбор был столь уникален, о современной переводу рецепции может свидетельствовать отзыв Г.-Ф. Миллера — «Das original war von keinen sonderlichen worthe; die übersetzung wurde auch nicht gelobt» (Материалы АН, VI, 171). Выбор тем не менее, несомненно, был осмыслен и ориентирован на потенциальную аудиторию русских читателей.
- 6 Ю. М. Лотман предполагал (1985), что выбор жанра в первом литературном выступлении Тредиаковского обусловлен ориентацией автора на модель французского литературного салона. По мнению Лотмана, «именно эту ситуацию... Тредиаковский с размахом новатора задумал перенести в Россию» (там же, 223), причем у этого замысла были социальные мотивы: побудительной причиной было «положение плебея» (там же, 226), которому утопия салона давала возможность превратить литературные упражнения в ценное обществом занятием. В этом контексте Лотман упоминает образец Вуатюра. Можно, однако, найти и множество других примеров литературной карьеры, выводящей в свет

незнатных и небогатых сочинителей, их путь к успеху мог идти не только через салоны, но и через другие институты литературной жизни (через Академию, как у Пелиссона, или через патронат и Академию, как у Мезерея). Плебейство Третьяковского вряд ли было принципиальным моментом — как мы увидим ниже, аналогичные проблемы возникали и у дворянина Сумарокова. Во всяком случае вряд ли Третьяковский мог — даже в полном реформаторском безумии — надеяться воссоздать в России какой-либо аналог французского салона: в России не только не было чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего литературный салон, не было и того благородного общества, которое было бы готово создать подобие салона и там играть в равенство с прославившимся поповичем. На то, что в Петербурге найдется увлеченный любитель романов, можно было понадеяться, на то, что там объявится маркиза Рамбуэй — никак.

- 7 Этот источник положения в обществе играл, конечно, немаловажную роль и во Франции. Примеры Ронсара, Депорта, Малерба должны были быть в той или иной степени известны Третьяковскому. Во Франции, однако, это лишь один из путей устройства литературной биографии, причем в литературной жизни начала XVIII в., т. е. в ситуации, очевидцем которой был Третьяковский, придворная поэзия утратила свою значимость. Вряд ли, таким образом, ища покровительства при дворе, Третьяковский держал перед глазами французские образцы. Либо образцы были иными, либо действовать приходилось согласно народной мудрости — «по которой реке плыть, той и песенки петь».
- 8 Можно предположить, что, как и канты спасских стихотворцев, эти стихи были предназначены не для чтения, а для пения. Это также указывает на их место в придворном обиходе. В 1730-е годы Третьяковский выступал не только в качестве поэта, но и в качестве композитора, так что, возможно, им была написана и музыка для упомянутых выше текстов (см.: Сохраненкова 1987). И этот момент сближал панегирическое творчество Третьяковского с уже существовавшей традицией.
- 9 Миллер называет эту институцию «eine conferenz für die translateurs [...] worin die übersetzungen vorgelesen wurden» и говорит, что она была установлена президентом Академии Корфом, «[d]a man immer mehr bemühet war, ausländische bücher in die russische sprache zu übersetzen» (Материалы АН, VI, 367), определяя, таким образом, задачи Собрания значительно скромнее, чем Третьяковский и, возможно, в большем соответствии с тем, что было на самом деле (Третьяковский писал при открытии Собрания, Миллер — много позже).

Какая-то память о Российском собрании в Академии, возможно, сохранялась. Ломоносов в представлении Разумовскому от 7 января 1758 г. говорит, что «для умножения книг российских, чем бы удовольствовать требующих охотников, не достаёт станов, переводчиков, а больше всего, что нет Российского собрания, где б обще исправлять грубые погрешности тех, которые по своей упряжке худые употребления в языке вводят», и предлагает «переводчиков умножить из студентов и составить Российское собрание» (Ломоносов, X², 27, 29). Показательно вместе с тем, что Ломоносов никак на прежний опыт не ссылается, надо думать, потому, что заметного следа он не оставил. См. также ниже об аналогичных мечтаниях Сумарокова.

- 10 Формулировки, близкие к словам Третьяковского, находим в проекте Шапелена, который мог быть известен Третьяковскому по «Истории Французской Академии» Пелиссона (Пелиссон, I, 35–36). Согласно этому проекту Академия должна была «...travailler à la pureté de notre Langue [...] pour cet effet, il falloit premièrement en régler les termes & les phrases, par un ample Dictionnaire, & une Grammaire fort exacte qui lui donneroit une partie des ornemens qui lui manquoient; qu'ensuite elle pourroit acquérir le reste par une Réthorique, & une Poétique, que l'on composeroit pour servir de règle à ceux qui voudroient écrire en vers & en prose».

- 11 Белинский в рецензии на «Славянский сборник» Н. В. Савельева-Ростислави-ча, обрушившегося на норманнскую теорию как на унижительную для славян немецкую выдумку и противопоставлявшего «патриотов» Волынского и Ломоносова мыслившему «на немецкий лад» Третьяковскому, писал по этому поводу: «Бедный Третьяковский! тебя до сих пор едят писаки, и не нарадуются до-сыта, что в твоём лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта» (Белинский, IX, 190).
- 12 Третьяковский явно осознавал, что социальные нормы им нарушены и издание своей вступительной академической речи «Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве» снабдил посвящением графу М. Воронцову. В нем он писал, что «почитай чрез Вас я получил себе профессорство, котораго начало не что есть иное, как токмо вечное Достопамятствие к громкой Славе Вашего Имени» (Третьяковский 1745, 10–12), т. е. приписывал свое продвижение патронату влиятельного вельможи, и лишь затем упоминал об аттестате, выданном ему Синодом, и о ходатайстве Сената. Третьяковский таким образом стремился хотя бы *post factum* привести свое продвижение в соответствие с принятой моделью, однако вряд ли успел в этом, так что из Петербурга в немецкие журналы сообщали, что «господа его сотоварищи не могли слушать этой речи [вступительной речи Третьяковского] без великой досады от упадка их общества» (Пекарский, II, 112).
- 13 Имею в виду историю с напечатанием стихотворного переложения Псалтыри и «Феоптии». В 1755 г. Синод по прошению Третьяковского одобрил оба сочинения Третьяковского для печати и распорядился напечатать их за счет духовного ведомства в Московской синодальной типографии. Публикация, однако, не состоялась, и воспрепятствовал ей, по-видимому, М. М. Херасков, бывший в то время директором типографии (Шишкин 1989, 533). Какова именно была позиция Хераскова в этом деле, вряд ли можно выяснить, однако представляется вероятным, что он не видел места для Третьяковского в литературной жизни, в каком бы зачаточном состоянии ни находилась она в это время.
- 14 При переложении Третьяковский пользовался сверх греческого еще и латинским и французским переводами. «С сею тройкою помощью добирался я, по возможности, до желаемая мне в Славенской Псалтыре ясности, которую-разлить-всюду и по преложению моему всемерно тщался, ...но при свете оныя, иногда довольно, иногда несколько слабо, от положенных речей в нашем переводе всячески не удалялся, и, сколько возможно было, оными самими Стих мой составлял...» (Третьяковский 1989, 7). С точки зрения Третьяковского, переложение является, таким образом, адекватным воспроизведением канонического церковнославянского текста; вместе с тем оно противопоставлено каноническому тексту своей ясностью (понятностью), что делает переложение особенно удобным для назидания благочестивого читателя. Поэтому Третьяковский надеется, что «самыи оныи буйныи духи, высокоумно Богоборным неверием дмяшиися, и дерзосно нечестивое свое сомнение изрыгающии, способнее медом Стихов усладиться могут, и равно ж чтением Псалмов преклониться к Истинне» (там же, 6). Третьяковский предполагал издать переложение Псалтыри вместе с «Феоптией». Эти произведения были освидетельствованы Синодом, который не нашел в них никакой «святей церкви противности» (там же, 476) и одобрил их публикацию (см. об истории этого неудавшегося издания: Шишкин 1989; о литературном контексте: Живов 1993). Таким образом, Третьяковский стремился к признанию своей роли духовного наставника, причем к признанию, идущему не от двора, а от церковных властей. В этом можно видеть попытку найти альтернативный источник утверждения своего статуса, попытку, обреченную на провал, поскольку, как уже было сказано, в России XVIII в. — в отличие от Франции — церковные власти не обладали ни независимостью, ни необходимым авторитетом для воздействия на социальные структуры.

- 15 Для Третиакковского должны были быть привлекательны и другие черты биографии Роллена. Как отмечал сам Третиакковский, «был он... муж niskаго состояния по рождению: сын кожевого художника парижанина; но имел свыше превысокия дарования умственные и нравственные. Толь сие праведно, что разум и добродетель, есть жребий всего человеческого рода, а не человекoв только породных...» (Третиакковский, РИ, I, с. Б). Роллень собственными силами достиг достаточно высокого и в то же время независимого положения: несколько раз он был ректором Парижского университета. За свою независимость и склонность к янсенизму он подвергался преследованиям и вынужден был уйти из университета. Всем этим обстоятельствам Третиакковский мог найти аналоги и в собственной судьбе (о Третиакковском и Роллене см.: Серман 1962; Кибальник 1981; Живов 1996, 312).
- 16 Литературная эволюция Третиакковского напоминает в этом отношении развитие современной ему немецкой литературы в целом. В определенном смысле Третиакковский, меняя свои позиции, проходит путь от Каница до Клопштока (ср. об элементах подобной эволюции у И. Х. Гюнтера: Бютлер-Шен 1981, 47–78 — глава «Die Krise der Gelegenheitsdichtung und der Rückbezug auf das humanistische Dichterideal»). Сходство, однако, остается внешним, а различия принципиальными: например, Третиакковский и Клопшток совершенно по-разному представляют себе адресата своего творчества. В любом случае, нет существенных оснований предполагать, что в этом отношении немецкий литературный процесс как-либо повлиял на русского автора (хотя гексаметры «Тилемахиды» обнаруживают несомненную связь с немецкой традицией — Нейкирха и Клопштока, см.: Фрейданк 1985).
- 17 Такая же дискредитация имела место и в издававшемся Екатериной журнале «Всякая всячина». Здесь «Тилемахида» рекомендовалась в качестве средства от бессонницы (Всякая всячина 1769, 15), причем в письме одного из «читателей» говорилось, что «для совершеннагож от бессонницы освобождения потребно было приобщить к Тилемахиде несколько стихов из Аргениды» (там же, 31). На это издатель отвечал, что боялся предписать «Тилемахиду» вместе с «Аргенидой», поскольку это было бы слишком сильным средством, которое «сон обращает в лифаргию, то есть в непрерывный сон. В прочем мы спорить не будем, что стихи Аргениды одни могут служить к таковому же употреблению; но в месте с Тилемахидою они произведут терзание жил, потяготу, тягость и отвращение ото всего» (там же, 32). В другом месте в этом же контексте упоминаются «книги вышедшия из перевода древней и Римской истории» (там же, 109–110). Таким образом, осмеянию подвергается весь тот комплекс идеологически значимых трудов Третиакковского, о котором мы говорили выше. В этом случае мы явно имеем дело с пропагандистской акцией, а не с шуткой для «интимного круга», как предлагает — на мой взгляд, необоснованно — интерпретировать эрмитажные правила И. Рейфман (1990, 165). Политические теории рассматриваются Екатериной, надо думать, как привилегия государства, т. е. монарха; стоит отметить в этой связи, что именно сама Екатерина в русском издании «Велизария» Мармонтеля (1768 г.), продолжающего традицию политического романа, переводит главу, в которой осуждается тирания (Сухомлинов, I, 121, 400–402).
- 18 Ср. еще любопытное и не поддающееся однозначной интерпретации свидетельство из «Всякой всячины». В одном из писем, продолжающем тему «Тилемахиды» как сновторного средства, говорится: «Он [Третиакковский] конечно далее моего писал и с позволения больше врал. Однако пускай ему худо: смело скажу, что нет ни одного Рускаго сочинения, из коего бы больше его мест назизусть помнили. Как же о таких сочинениях думают? О них взывает некто из славных писателей: где те места, кои читатели наизусть помнят? Видно, что они делают честь сочинителю [...] Случается, что дурное помнят гораздо более; и вот пример: в сочинениях тогоже творца есть сюблима полтора или и более,

- кои бы можно было помнить ко прославлению его; однако кто их знает? Сокрыты они от наигострейшего зренья трудолюбивейшаго кописта» (Всякая всячина 1769, 59–60).
- 19 У Шувалова параллелизм Петра и Ломоносова отчетливо отражается в топике оды, слава Ломоносова занимает в ней то самое имперское географическое пространство — «Des rochers du Caucase aux limites du Nord» (Тихонравов 1853, 18), — в котором размещается власть торжествующего монарха (ср.: Пумпянский 1983, 24–25). Как и Петр, Ломоносов творит из ничего («Privé de tous secours sans modèle et sans guides») и создает цивилизацию на просторах старинной дикости — «Sa voix avec courage Dans un pays sauvage Enseigne la raison». Как и в случае с Петром, труды Ломоносова закладывают основание, на котором вырастает новая Россия, он «éclaire un peuple entier, et devient son arrii» (Тихонравов 1853, 19).
- 20 Ср. агиографический по типу мотив конфликта со сверстниками уже в одной из первых биографий Ломоносова, написанной Я. Штелином: «[Ломоносов] учинился, ко удивлению всех, лучшим чтцом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что не редко биван был не от сверстников по летам, но от сверстников по учению за то, что стыдил их превосходством своим пред ними произносить читаемое к месту разстановочно, внятно, а притом и с особою приятностию и ломкостью голоса» (Пекарский, II, 270).
- 21 Семейные неурядицы как стимул к литературной карьере представляются достаточно обычным сюжетом в европейской литературной жизни XVII–XVIII вв. Недоброжелательство мачехи посылает, например, в литературу Скаррона, сына влиятельного парламентского чиновника, который мог бы унаследовать положение своего отца и обойтись без литературных занятий (по крайней мере, профессиональных), если бы не оказался в своей семье как бы неродным (Фельпс 1951, 10 сл.). Подобная связь писательства с социальной неустроенностью обусловлена тем, что в это время литература остается новой и рискованной профессией, которую от хорошей жизни не выбирают; биографические детали имеют здесь, таким образом, прямое отношение к социологии литературы.
- 22 И. З. Серман пишет, что с детских лет Ломоносов был настроен антиклерикально: «Many of the customs which the Russian orthodox church upheld and sanctified must have appeared repulsive to an attentive and impressionable boy, well read in the literature of saints' lives» (Серман 1988, 11). Позднее, будучи уже в Академии наук, Ломоносов действительно неоднократно высказывает антиклерикальные суждения (как и полагалось просветителю), превозносит Петра и с одобрением упоминает его указы по духовному ведомству; эти взгляды переносятся и на годы его юности. Это явно неоправданная экстраполяция, для которой нет никаких оснований, действие того же агиографического канона: убежденным просветителем Ломоносов оказывается с юных лет. Когда Ломоносов превращается в антиклерикала, остается неясным, но в любом случае нельзя, как это делает Серман, основываться на его поздней записке о способах повышения рождаемости в России, написанной в обстановке борьбы различных придворных партий; к 1720–1730-м годам все это не имеет никакого отношения.
- 23 Как уже говорилось, законодательство XVIII в. ограничивает социальную динамику во всех отношениях, так что переход из одной социальной группы в другую (например, нередкий еще в XVII в. переход из крестьянства в духовенство) становится юридически невозможен. Существенно, однако, что в этой области, как и в большинстве других, законы не действуют или действуют лишь ограниченно. «Незаконная» социальная мобильность XVIII в. требует отдельного исследования. Укажу сейчас лишь несколько примеров в интересующей нас области церковного быта. Так, из жизнеописания иеромонаха Феодора (Ушакова), сержанта Преображенского полка, дворянина, в двадцать лет ушед-

шего спастись в поморские леса (около 1738 г.), узнаем, что преследование пустынников вынудило его «перейти в Площанскую пустынь Орловской губернии. Как человека, не имеющего вида, настоятель долго не хотел принимать его. Когда он, наконец, согласился и приказал ему читать псалмы в церкви, то по особой манере чтения его заключил, что Иоанн не церковник [т. е. не принадлежит духовному сословию], а господский человек или дворянский сын, и поместил его, в предохранение от неприятностей, в уединенной келье в лесу» (Поселянин 1905, 262). Ушакова все же поймали, отправили в Петербург, и лишь особое дозволение императрицы Елизаветы дало ему возможность сделаться монахом. Заслуживает внимания то, что настоятель принимает Ушакова в монастырь, несмотря на все запреты, и прячет его. Прячет он его, правда, неудачно, и именно поэтому мы располагаем сведениями о биографии этого человека. В других случаях, надо думать, спрятаться удавалось лучше, и тогда ни в каких документах этот социальный скачок не отражался. Сходное свидетельство для рубежа XVIII—XIX вв. дает жизнеописание иеросхимонаха Нафанаила, в миру Никифора Борисовича (род. 1779 г.), в юности поступившего в Воронежский Задонский монастырь. Его должны были отдать в военную службу, но благочестивый задонский городничий спрятал его у себя, а затем выхлопотал ему разрешение на монашество (Жизнеописания подвижников, август, 50—52). Аналогичную деталь находим и в жизнеописании киево-печерского затворника Досифея, бывшего в действительности девицей из дворян, которая в 1736 г. убежала из дому и поступила послушником в Троице-Сергиеву лавру, сказавшись беглым крестьянином; старцы укрыли «юношу», несмотря на явную противозаконность такого укрывания (Жизнеописания подвижников, сентябрь, 260). Правдоподобность этой истории сомнительна, однако укрывание в монастыре от властей выступает как сюжет, типический для описываемой эпохи.

- 24 По данным Д. Вишневого, в первой половине XVIII в. «процент детей священно-церковно-служителей... был сравнительно малым (приблизительно — с небольшим тридцатый), напр. в 1730/31 учебном году из числа 112 учеников синтаксимы только 32 были детьми духовенства; в 1744/45 г. из духовного звания в Академии было 338, а малороссийских и заграничных разночинцев 762» (Вишевский 1903, 95). Среди учеников не редкостью были и крестьянские дети («синовья мужичьи», как они обозначены в ведомостях, — там же, 356—362). Из козацких детей был, в частности, Симон Тодорский, кончивший Киевскую академию, а позднее ставший архиепископом Псковским.
- 25 О том, что из Ломоносова мог выйти не первый русский поэт, а успешно продвинувшийся по службе архиерей, говорят карьеры отдельных его современников. Так, Амвросий Серебренников кончил свою жизнь местоблюстителем Молдо-Влахийской экзархии, а начал ее, видимо, в крестьянской семье в Вятской губернии. Согласно одной из его биографий (Батюшков 1892, 33—35; ср.: Жизнеописания подвижников, сентябрь, 167—168), Амвросий родился в богатой крестьянской семье, обратил на себя внимание местного священника и по его уговорам поступил в Вятское духовное училище, а затем в Славяно-греко-латинскую академию. Это и было началом духовной карьеры. В других биографиях, правда, говорится, что Амвросий был сыном дьячка (РБС, II, 90). Скорее всего, однако, это указание восходит к той канцелярской версии, которая была изобретена при поступлении Амвросия в училище и — в отличие от ломоносовского случая — не подверглась разоблачению.
- 26 Показательны в этом отношении совпадения в мотивике и топике ломоносовских од и проповедей, произносившихся при дворе по случаю вступления на престол Елизаветы Петровны (Амвросия Юшкевича, Димитрия Сеченова и др.). Основы патриотического дискурса Ломоносов получает в готовом виде и сразу же пускает их в дело: придворный поэт был по необходимости конформистом.
- 27 В рамках предложенной А. Виала дихотомии «stratégie de la réussite — stratégie du succès» (Виала 1985, 183—185; см. настоящий номер НЛЮ, 21—22) Ломоно-

сов, несомненно, следует первой. Придерживаясь этой стратегии, автор прежде всего обращается к властям, поскольку именно от них зависит стабильное продвижение в социальном пространстве, — с этого и начинает Ломоносов в Хотинской оде (в отличие от Третьяковского, который в «Езде в остров любви» обращается к читательской публике). Собственная идеология на этом пути может быть только помехой, так как «[l]es hommes du cursus défendent [...] une conception de la littérature qui en fait un service des puissants et, par là même, un soutien de la norme sociale en place» (Виала 1985, 197). И это вполне согласуется с установками Ломоносова. Стоит, однако, отметить два момента. Во-первых, во французской ситуации данная стратегия связана со следованием литературной норме. У Ломоносова такой готовой нормы не было, и он сам ее создает (немецкий образец не отменяет ее инновативности в русской ситуации), причем апелляция к власти и прославление власти вводятся как ее конститутивные элементы. Во-вторых, во французской ситуации «les auteurs qui suivent le cursus doivent produire des textes convenant à chacune. D'où, chez eux, une tendance très marquée à la polygraphie» (там же, 194). Ломоносов между тем явно к жанровому разнообразию не стремится. Причины этого отклонения очевидны: адресатом литературы была не расчлененная аудитория французской элиты (институции двора и салоны, духовенство и парламент), но единственный властный институт в России этой эпохи — императрица и группирующиеся вокруг нее дворцовые фракции.

- 28 Этот указ состоялся после того, как Ломоносов, приведенный в ярость производством в статские советники его врага И. И. Тауберта, в июле 1762 г. подал прошение об отставке с пожалованием следующего чина. Знаменательно, что в приложении к этому прошению Ломоносов отправил список тех, кто был произведен в обход его (Ломоносов, VIII, 245–246 второй пагинации); Тауберт стоял в этом списке последним. 2 мая 1763 г. последовал указ Екатерины, удовлетворяющий прошение Ломоносова, однако уже 13 мая этот указ был отменен (Ченакал 1961, 390). Отменой указа Ломоносов был, видимо, обязан фавориту императрицы Г. Г. Орлову, покровительства которого Ломоносов стал ревностно искать сразу же после переворота 28 июня 1762 г. Прося у Орловых покровительства, Ломоносов указывал на свои ученые и литературные заслуги, обещал утвердить свою благодарность «публичными памятниками» (т. е. стихотворным панегириком) и ссылался на то, что «в Германии знатных профессоров жалуют высокими чинами, баронами и тайными советниками» (Ломоносов, VIII, 247/X², 561); и в этом случае прилагался, видимо, «Реестр некоторым ученым людям, в знатные чины и достоинства за науки произведенным» (см. подобный реестр: Ломоносов, VIII, 251–252 второй пагинации).
- 29 Пекарский отмечает «угрожающий тон ломоносовского донесения, столь несовместный с чинопочитанием, господствовавшим в прошлом веке» (Пекарский, II, 738).
- 30 В оде Юнкера, равно как и в оде Ломоносова 1747 г., Елизавета открывает музам (наукам) путь в Россию:

Ты видишь равно ей [Елизавете Английской] к талану путь прямой,
Известны будут нам науки все Тобой.

Чрез оны человек приходит к совершенству,
К сему нас Бог избрал с натурою блаженству.

(Ломоносов, I, 79).

Науки, в свой черед,

Художеств разных плод обильный в тьмах являю
Чрез прибыль славную своих обогащают.

(там же).

Именно это и должно привлечь к наукам щедроты императрицы:

Империя Твоя пространный дом для них,
Коль много скрытых есть богатств в горах Твоих!
Что прошлой век не знал, натура что таила,
То все откроет нам Твоих стараний сила.

(Ломоносов, I, 81).

Ломоносов в оде 1747 г. повторяет данный ход мысли, говоря и о заслугах императрицы («Широкое открыто поле, Где музам бег свой простирагы! Твоей великодушной воле Что может за сие воздать?» — Ломоносов, I, 150), и о скрытом богатстве, которое таит натура и раскрывает наука («Богатство в оных [пространствах империи] потаенно Наукой будет откровенно, Что щедростью Твоей цветет». — Ломоносов, I, 149). Ломоносов, несомненно, использует уже обработанный материал.

Стоит оговориться, впрочем, что тема просвещения возникает и в Оде на Рождение 1746 г. В день рождения императрицы «сияют щастливы планеты»,

Являя что Елисавета
В России усугубит света
Державой и венцем своим.
Ермий наукам предводитель
И Марс на брани победитель
Блистают совокупно с ним.

(Ломоносов, I, 130—131).

Тема просвещения, однако, упомянута здесь вскользь и в астрологическом обрамлении, что говорит о чисто панегирической, а не идеологической мотивировке.

- 31 Как пишет Г. Фрюзопре, «Die Beziehung zwischen poetischer Produktion und "Nebenstunde" erklärt nicht nur Weises Auffassung von der Aufgabe der "Poeterey", sondern auch sein Begriffsverständnis der "Nebenstunde" selbst. Grundsätzlich und für alle poetischen Gattungen gilt bei Weise, dass "die Poeterey nichts anders als eine Dienerin der Beredsamkeit" sei. Diesen Zwecken gegenüber ist die "Poeterey", ein "Werckzeug zu höhern Gedancken", nur das "Neben-Werck" der "Nebenstunden"» (Фрюзопре 1974, 132). Именно это представление о поэзии было одиозным для увлекавшего Ломоносова в молодости Гюнтера, однако очевидно, что, заботясь о своей карьере в России, Ломоносов расстается с гюнтеровскими идеалами и усваивает ту идеологию придворной поэзии, в основе которой лежали теоретические построения Вайзе.

Несколько последовательным было усвоение идей Вайзе и не оставалась ли приверженность Гюнтеру одной из скрытых линий ломоносовского творчества, требует отдельного исследования. И Ода, выбранная из Иова, и два Размышления о Божием величии, написанные, видимо, в переломный для Ломоносова момент выбора пути (1742—1743 гг. — см.: Пумпянский 1935, 106—110), вполне вписываются в гюнтеровскую традицию, и, возможно, связаны с ней теснее, чем это представляется на первый взгляд. Для всех этих трех произведений основной темой является теодицея, и проблема теодицеи решается в них, как отчасти уже было отмечено Ю. М. Лотманом (1983, 259; ср. еще: Пумпянский 1935, 109), в рамках «Теодицеи» Лейбница, подчеркивавшего и всемогущество Бога, и благодать Божественного промысла, «проявляющегося в творениях вообще», и недоступность его для ограниченного человеческого познания, т. е. именно те моменты, на которых строятся рассуждения Ломоносова. Рецепция Лейбница у Ломоносова (ср. не слишком содержательные заметки на эту тему: Тукалевский 1911) в точности соответствует при этом его рецепции у Гюнтера, причем для Гюнтера проблема теодицеи оказывается одной из основных, непосредственно связанных с «оправданием» поэзии как «Nächstendienst» в понимании, характерном для лютеранского нравственного богословия (Бютлер-Шен 1981, 186 сл.). При такой концептуализации поэт отождествляется с

- праведником и возникает проблема бедствий праведника, вводящая тему страданий Иова (они становятся метафорой ущербного статуса поэта), теодицеи и описания величия творения, воплощающего благую волю Бога. На этой концептуализации основаны стихи Гюнтера об Иове, которые, видимо, были одним из стимулов для ломоносовской оды, равно как топика природы у Гюнтера в целом, отсылающая к немецким физикотеологическим построениям (Филипп 1957); эти последние определяют понимание природы как *harmonia stabilitata* у Броккеса и Триллера, которые также, видимо, были хорошо известны Ломоносову. Стоит вспомнить вместе с тем, что Ломоносов в Оде, выбранной из Иова, использовал лютеровскую Библию (Унбегаун 1973; ср.: Кайперт 1996), что с иной стороны указывает на связь этой линии его творчества с немецкой традицией. Парадоксальным образом к этой линии может примыкать и «Гимн бороде», находящий аналогию в «Pfaffensatire» Гюнтера; эта аналогия позволяет увидеть и идеологический контекст этих стихов (отличающийся от того, который восстанавливает Лотман): живые церковнослужители отрицают «праведность» поэта и важность его «weltlich Gottesdienst».
- 32 Для французской литературной ситуации XVII в. это различие четко проводится в уже цитировавшейся работе А. Виала: «[L]es gains réalisés par le client proviennent du service qu'il rend à son patron. Service immédiat, quand il s'agit d'un travail de précepteur, secrétaire ou intendant; ou rétribution d'un service rendu ou qui devra l'être dans le futur, quand le gain consiste en une charge ou un bénéfice [...] Le mécénat, au contraire, ne concerne que l'aide apportée par un grand personnage à des artistes pour les soutenir dans l'exercice de leur art. Dans le clientélisme, le service est premier; dans le mécénat, l'art est premier. Certes, il est rare qu'un mécène agisse par amour de l'art. Souvent il est animé par une visée d'ostentation sociale: la gratification donnée à l'artiste correspond à un gain de renommée pour le personnage social du mécène» (Виала 1985, 54; см. настоящий номер НЛО, 11–12). В социальной истории русской литературы такого рода противопоставление может быть осмысленно для конца XVIII — начала XIX в., хотя отдельные случаи меценатства могут наблюдаться и ранее. Мы уже упоминали письмо графа С. А. Салтыкова своему сыну, в котором он указывает намерение одарить чем-нибудь Третьяковского, приславшего ему «Панегрик» (см. выше). Можно вспомнить и о том, как В. Н. Татищев послал Ломоносову десять рублей в благодарность за то, что тот написал посвящение к первой части его «Истории Российской» (Пекарский, II, 416).
- 33 В. Глисон замечает по этому поводу: «Despite the clear threat to the Shuvalov's position at the court, Lomonosov did not voice any support for his patron's opinions. He did write in praise of the Russian military commitment in 1757, but he also supported imperial military policy in 1762 when Russia's ally was no longer France but Prussia and, with no less readiness, the decision to withdraw from the war in 1762» (Глисон 1981, 26). Ода 1757 г. вполне вписывается в контекст общего согласования политических позиций поэта с позициями его патрона, тогда как позднейшие выступления Ломоносова, после смерти Елизаветы, с проблемой отношений Ломоносова и Шувалова вообще никак не связаны. Шувалов попадает в немилость и в силу этого автоматически перестает быть патроном Ломоносова: русский патронат предполагает протекцию для клиента при дворе, а не частные отношения вельможи и литератора. Следует помнить, что Ломоносов пишет панегирики правящим монархам, а не своим патронам, поэтому не может быть и речи о том, чтобы он восхвалял какую-либо политику, отличную от направления, избранного правящим монархом. Открытая полемика противоречила бы и природе панегирической поэзии, и статусу придворного поэта.
- 34 Перезидание «Слова» Муравьева см.: Павлова 1962, 35–40 (цит. пассаж — там же 38–39). Как замечает в рамках все той же мифологической схемы Л. И. Кулакова, «[о]дним из первых Муравьев понял, что суть поэзии Ломоносова не

только прославление, но и поучение» (Кулакова 1962, 223). О рецепции Ломоносова у сентименталистов см.: Кочеткова 1987; в статье содержится ряд верных наблюдений, однако мифология Ломоносова-просветителя принимается как данность, что не позволяет автору увидеть радикальность того преобразования, которому сентименталисты подвергают ломоносовскую парадигму.

- 35 Видимым исключением представляется Адодуров, и в нашем случае такие исключения требуют особого внимания, поскольку никаких массовых случаев в русской литературе этого времени вообще быть не может. Адодуров был из новгородских дворян, учился в Новгороде в духовном училище, затем поступил (в 1723 г.) в Славяно-греко-латинскую академию, и уже оттуда в Академию наук. В отличие от Сумарокова, наследственного состояния у него, видимо, не было, и профессиональная карьера была для него необходимостью. Почему именно он предпочел карьеру академическую более обычной военной, остается неясным. В 1720-е годы словесное сознание еще не было столь устоявшимся, и Адодуров мог рассчитывать с пользой употребить свою образованность. Для его службы в Академии дворянство никаких заметных преимуществ не давало, его карьера здесь мало чем отличается от карьеры других академических переводчиков: он переводит различные академические труды, оды Штелина, сочиняет проекты фейерверков и т. д. В 1741 г., однако, Адодуров покидает Академию, переходит в Герольдмейстерскую контору и постепенно оставляет литературные занятия, его карьера приобретает черты дворянского продвижения по службе. Выгодная женитьба (взял за женою 1500 душ) упрочивает его положение, он служит помощником губернатора в Оренбурге (почетная ссылка), куратором Московского университета, президентом Мануфактур-коллегии, сенатором. Таким образом, расчеты Адодурова вполне оправдались, и в ретроспекции литература (ученая деятельность) занимает в этих расчетах весьма скромное место. Ход жизни Адодурова никак не напоминает тот тип, который реализуют литераторы-дворяне конца XVIII в. (Державин, Дмитриев), не перестававшие писать до конца своих дней. Исключение (Адодуров), таким образом, лишь подтверждает правило: в первой половине XVIII в. литературная (ученая) карьера была не для дворян.
- 36 Конечно, литература в качестве дворянского занятия имела западноевропейские образцы, так что дворянство могло предаваться литературным трудам, равняясь на своих западных наставников, однако и во Франции, и в Германии сословная диспропорция среди литераторов не была столь значительной. И это, несомненно, может объясняться разной доступностью образования для дворян и для других классов: в России XVIII в. неравенство в этом отношении было значительно большим, чем во Франции или Германии. Думается, однако, что исчерпывающим такое объяснение быть не может, и фактор культурно-идеологический играл все же важную роль. Первым, кто создает этот культурно-идеологический стимул, был, безусловно, Сумароков.
- 37 В данной статье можно видеть развитие той же риторической стратегии, которая характеризует письма к Шувалову. Процветание наук невозможно без усовершенствования российского языка и словесности, следовательно, они связаны, следовательно, Сумароков должен по праву занять место в Академии. Этой связи не видят «иноплеменники, наблюдая собственное свое прибыточество, и вражду к Российскому Парнасу» (Сумароков 1760, 318), которые и препятствуют Сумарокову в получении академического места. И в этом отношении (иностранным засилею) сумароковский дискурс сближается с ломоносовским.
- Конечно, у стремления Сумарокова стать членом Академии были и конкретные причины — та ссора с Сиверсом, о которой только что было сказано. Сумароков этого не скрывает, заявляя Шувалову, что «[п]ри театре я больше под гофмаршалом [Сиверсом] ради десяти тысяч жалования [это гипербола, в качестве директора театра Сумароков получал одну тысячу рублей в год] быть не хочу» (Письма рус. писателей, 88). В дальнейшем, когда Сумароков оказал-

- ся в милости у Екатерины и мог бы занять место в Академии, он больше этого места не ищет, поскольку милость императрицы могла временно институализацию заменить. В любом случае осознание проблемы институализации имеет место и появляется у Сумарокова при первых же попытках построить литературную карьеру.
- 38 «Деспотический» ответ, несомненно, мог рисоваться воображению Сумарокова, на то были хорошо известные сценарии, которые не могли не определять ожидания сторон. Имею в виду не расправу Вольтера с Третьяковским, поскольку Сумароков явно не считал свой социальный статус напоминающим статус Третьяковского, а нашумевшее столкновение Вольтера с шевалье де Роганом-Шабо у герцога Сюлли. Избитый слугами Рогана, Вольтер, не найдя поддержки у Сюлли, вызвал Рогана на дуэль, после чего был отправлен в Бастилию, а затем выслан в Англию. Каков был бы эквивалент Бастилии в Елизаветинской России, трудно определить однозначно; вполне, однако, можно понять растерянность Сумарокова, поставленного перед подобной задачей, даже не прибегая к рассуждениям о еще не до конца сформировавшемся дворянском сознании. У отождествления себя с Вольтером были, видимо, и свои нерадостные моменты.
- 39 Литературные занятия самой Екатерины, начавшиеся, впрочем, лишь в 1769 г., т. е. несколько позже описываемых сейчас событий, имели несомненно исключительное значение для утверждения статуса литературы. По словам И. де Мадариаги, «Catherine rendit la profession d' "homme de lettres" socialement acceptable en Russie» (Мадариага 1992, 659). Эта тема требует особого исследования, так что здесь на ней останавливаться было бы неуместно. Отмечу, однако, что статус, придававшийся литературе Екатериной, не совпадал с тем, о котором мечтал Сумароков. Как и для Сумарокова, литература для Екатерины выполняла дидактические функции, особенно в начальный период ее творчества — период «Всякой всячины» и ранних комедий. Однако, как показывает та же «Всякая всячина», не менее важен был для Екатерины и момент игровой, противопологавший литературу государственной деятельности.
- 40 Именно в рамках подобных юридических представлений составлен и второй контракт Сумарокова с Бельмонти 1771 г., касающийся прав на постановку «Дмитрия Самозванца». За право постановки Сумароков одновременно получил 1600 рублей, отчисления от сборов не были предусмотрены, однако сборы отходили автору целиком, если представление давалось без дозволения автора. Бельмонти обязуется «ево трагедии Дмитрия Самозванца, ни под каким видом, ни для чего, и ни для какова обстоятельства, без ево дозволения не представлять, доколе неучиню я с ним друга обязательства. А буде она у меня на театре или где инде мною представлена и моими актерами будет, так все сборы, сколько их ни было, должен я ему буду уступить без отговорок, разсуждая сколько за оную трагедию получится» (Материалы РИ 1843, 272; ср.: Письма рус. писателей, 219). Здесь явно предусмотрена компенсация за ущерб, а не гонорар.
- 41 «Сумароков уже был предан пьянству без всякой осторожности. Нередко видел мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь, в белом шлафроке, а по камзолу, через плечо, аннинская лента. Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком» (Дмитриев 1985, 154).

Литература

- Анисимов 1982 — Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России 1719—1728 гг. Л., 1982.
- Анисимов 1994 — Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725—1740. СПб.: Лениздат, 1994.

Барте́нев 1860 — [Барте́нев П. И.]. Исторические бумаги XVIII века. — Русская беседа. 1860. Т. II [год 5, кн. 20], 179—258.

Батюшков 1892 — *Батюшков П. Н.* Бессарабия. Историческое описание. СПб., 1892.

Берков 1936 — *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. М.; Л., 1936.

Бирхер и Инген 1978 — *Bircher M., van Ingen F. (Hrsg.)*. Sprachgesellschaften, Sozietäten, Dichterguppen. Hamburg, 1978 [Wolfenbüttler Arbeiten zur Barockforschung 7].

Белинский, I—XIII — *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений. Т. I — XIII. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1995.

Благой 1931 — *Благой Д.* Социология творчества Пушкина. М.: Мир, 1931.

Булич 1854 — *Булич Н.* Сумароков и современная ему критика. СПб.: В типографии Э. Праца, 1854.

Бютлер-Шен 1981 — *Bütler-Schön H.* Dichtungsverständnis und Selbstdarstellung bei Johann Christian Günther. Studien zu seinen Auftragsgedichten, Satiren und Klageliedern. Bonn, 1981 [Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik/Hrsg. von A. Arnold und A. M. Haas. Bd. 99].

Виала 1985 — *Viala A.* Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'âge classique. Paris, 1985.

Вишне́вский 1903 — *Вишне́вский Д.* Киевская академия в первой половине XVIII столетия. Киев, 1903.

Владимирский-Буданов 1874 — *Владимирский-Буданов М.* Государство и народное образование в России XVIII-го века. Ч. 1. Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II). Ярославль, 1874.

Гарбер 1981 — *Garber K.* Der Autor im 17. Jahrhundert. — Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. Heft 42. Der Autor, 29—45.

Гарбер 1983 — *Garber K.* Arkadien und Gesellschaft. Historisch-dialektische Studien zur bürgerlich-gelehrten Literatur des 17. Jahrhunderts und ihrer Institutionen. Stuttgart, 1983.

Гарбер 1987 — *Garber K.* Paris, die Hauptstadt des europäischen Späthumanismus. Jacques Auguste de Thou und das Cabinet Depuy. — Res Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit/Hrsg. von S. Neumeister und C. Wiedemann. Teil I. Wiesbaden, 1987, 71—92.

Глаголева 1911 — *Глаголева Т.* Отзывы современников и потомства о литературной деятельности М. В. Ломоносова. — 1711—1911. М. В. Ломоносов: Сб. статей под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, 150—185.

Глисон 1981 — *Gleason W. J.* Moral Idealists, Bureaucracy, and Catherine the Great. New Brunswick, New Jersey, 1981.

Гринберг и Успенский 1992 — *Гринберг М. С., Успенский Б. А.* Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов. — Russian Literature. XXXI (1992), 133—272.

Гриц, Тренин, Никитин 1929 — *Гриц Т., Тренин В., Никитин М.* Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929.

Гуковский 1926 — *Гуковский Гр.* О сумароковской трагедии. — Поэтика: Сб. I. Л., 1926, 67—80.

Гуковский 1936 — *Гуковский Гр.* Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750—1760-х годов. М.; Л.: Изд-во Академии наук, 1936.

Дмитриев 1985 — *Дмитриев М. А.* Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М.: Московский рабочий, 1985.

Евгений Болховитинов, I — II — *Евгений [Болховитинов]*, митрополит. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. I—II. М., 1845.

Живов 1993 — *Живов В. М.* К предыстории одного переложения псалма в русской литературе XVIII века. — *Jews and Slavs. Vol. 1.* Ed. by W. Moskovich, S. Shvarzband and A. Alekseev. Jerusalem; St. Petersburg, 1993, 132–160.

Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

Жизнеописания подвижников, январь–декабрь — Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков: Издание Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М., 1908–1910.

Забелин 1858 — Письмо Третьяковского к графу С. А. Салтыкову/Сообщено И. Е. Забелиным. — Библиографические записки, 1858. Т. 16, 555–556.

Зеemann 1987 — *Seemann K.-D.* Zum Verhältnis von Narration und Gattung im slavischen Mittelalter. — *Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen/Ed. K.-D. Seemann.* Wiesbaden, 1987, 207–221.

Знаменский 1881 — *Знаменский П.* Духовные школы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881.

Кайперт 1996 — *Keipert H.* Lomonosov und Luther. — *Die Welt der Slaven*, XVI (1996), 62–88.

Карлинский 1963 — *Karlinsky S.* Tallemant and the Beginning of the Novel in Russia. — *Comparative Literature*, XV (1963), № 3, 226–233.

Карлинский 1985 — *Karlinsky S.* Russian Drama from the Beginning to the Age of Pushkin. Berkeley; Los Angeles; London, 1985.

Кибальник 1981 — *Кибальник С. А.* Об одном французском источнике эстетических взглядов Третьяковского. — XVIII век: Сб. 13. Л.: Наука, 1981, 219–228.

Кирхнер 1961 — *Kirchner P.* Lomonosov und Johann Christian Günther. — *Zeitschrift für Slawistik*, VI (1961), 4, 483–497.

Клейн 1995 — *Клейн Й.* Реформа стиха Третьяковского в культурно-историческом контексте. — XVIII век: Сб. 19. СПб.: Наука, 1995, 15–42.

Коллинз 1928 — *Collins A. S.* The Profession of Letters. A Study of the Relation of Author to Patron, Publisher, and Public, 1780–1832. London, 1928.

Кочеткова 1987 — *Кочеткова Н. Д.* М. В. Ломоносов в оценке русских писателей-сентименталистов. — Ломоносов и русская литература/Под ред. А. С. Курилова. М.: Наука, 1987, 267–280.

Крейкрафт 1971 — *Cracraft J.* The Church Reform of Peter the Great. London, 1971.

Кулакова 1962 — *Кулакова Л. И.* А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове. — Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы/Под ред. П. Н. Беркова и И. З. Сермана. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962, 219–236.

Куник 1865 — *Куник А.* Сборник материалов для истории Императорской Академии наук. Ч. I–II. СПб., 1865.

Лакшин 1962 — *Лакшин В. Я.* О деятельности В. К. Третьяковского-просветителя (Перевод книги о Фр. Бэконе). — XVIII век: Сб. 5. М.; Л., 1962, 223–248.

Левит, в печати — *Levit M.* Sumarokov's Debacle of 1770: The Illegal Staging of *Sinav I Truvor* and the Problem of Authorial Status in Eighteenth Century Russia.

Ливе, I–II — *Histoire de l'Académie française par Pellisson et d'Olivet avec une introduction, des éclaircissements et notes par M. Ch.-L. Livet.* T. I–II. Paris, 1855.

Ломоносов, I–VIII — *Ломоносов М. В.* Сочинения. Т. I – VIII. СПб.; М.; Л., 1891–1948.

Ломоносов, I² – X² — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. I–X. М.; Л., 1950–1959.

Лонгинов 1871 — *Лонгинов М.* Последние годы жизни Александра Петровича Сумарокова. — Русский архив, IX (1871), 1637–1717.

Лотман 1983 — *Лотман Ю. М.* Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова. — Известия АН СССР. Серия лит. и языка. Т. 42 (1983), № 3, 253–262.

Лотман 1985 — *Лотман Ю. М.* «Езда в остров любви» Тредиаковского и функции переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. — Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985, 222—230.

Мадариага 1992 — *Madariaga I. de.* Catherine II et la littérature. — Histoire de la littérature russe. Vol. I./Dirigé par E. Etkind, G. Nivat, I. Serman et V. Strada. Paris: Fayard, 1992, 656—669.

Майков 1889 — *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889.

Малышев 1961 — *Малышев И. В.* (ред.) Н. И. Новиков и его современники. Избранные сочинения. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Маркер 1985 — *Marker G.* Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700 — 1800. Princeton, 1985.

Материалы АН, I—X — Материалы для истории Императорской Академии наук/Под ред. М. И. Сухомлинова. Т. I — X. СПб., 1885—1900.

Материалы РИ 1843 — Материалы для русской истории. — Москвитянин 1843, 1, 233—273.

Мейнье 1966 — *Meunieux A.* La littérature et le métier d'écrivain en Russie avant Pouchkine. Paris, 1966.

Муравьев 1774 — [*Муравьев М. Н.*] Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев. СПб., 1774.

Нахирны 1983 — *Nahirny V. C.* The Russian Intelligentsia. From Torment to Silence. New Brunswick and London: Transaction Books, 1983.

Никольс 1978 — *Nichols R. L.* Orthodoxy and Russia's Enlightenment, 1762 — 1825. — Russian Orthodoxy under the Old Regime. Minneapolis, 1978, 65—89.

Орлов 1935 — *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. — XVIII век: [Сб. 1]. М.; Л., 1935, 5—55.

Павлова 1962 — *Павлова Г. Е.* (сост.). М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.

Панченко 1973 — *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVIII века. Л., 1973.

Пекарский, I — II — *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I—II. СПб., 1870—1873.

Пекарский 1865 — *Пекарский П. П.* Отчет о занятиях в 1863—64 годах по составлению истории Академии наук. — Записки Имп. Академии наук, VII, прилож. № 4. СПб., 1865.

Пекарский 1866 — *Пекарский П. П.* Материалы для биографии В. К. Тредиаковского. — Записки Имп. Академии наук, IX, кн. 2. СПб., 1866, 175—191.

Пелиссон, I—II — *Histoire de l'Académie française.* Par MM. Pellisson, & d'Olivet. T. I—II. 3-ème éd. Paris, 1743.

Письма рус. писателей — Письма русских писателей XVIII века/Под ред. Г. П. Макогоненко. Л.: Наука, 1980.

Позднеев 1961 — *Позднеев А. В.* Русская панегирическая песня в первой четверти XVIII века. — Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961, 338—358.

Поселянин 1905 — *Поселянин Е.* Русская церковь и русские подвижники 18-го века. СПб., 1905.

Пумпянский 1937 — *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский и немецкая школа разума. — Западный сборник, I/Под ред. В. М. Жирмунского. М.; Л., 1937, 157—186.

Пумпянский 1941 — *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский. — История русской литературы. Т. III. М.; Л., 1941, 215—263.

Пумпянский 1983 — *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума. — XVIII век: Сб. 14. Л.: Наука, 1983, 3—44.

- Пушкин, I—X — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. 4-е. Л.: Наука, 1977—1979.
- Рансел 1975 — *Ransel D. L.* The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party. New Haven and London: Yale University Press, 1975.
- РБС, I — XXV — Русский биографический словарь / Под ред. А. А. Половцова. Т. I—XXV. СПб., 1896—1913.
- Романович-Славятинский 1870 — *Романович-Славятинский А.* Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870.
- Семенников 1923 — *Семенников В. П.* Радищев: Очерки и исследования. М.; Пг.: Гос. Изд-во, 1923.
- Серман 1962 — *Серман И. З.* Тредиаковский и просветительство (1730-е годы). — XVIII век: Сб. 5. М.—Л., 1962, 205—222.
- Серман 1985 — *Серман И. З.* Бова и русская литература. — *Slavica Hierosolymitana VII* (1985), 163—170.
- Серман 1988 — *Serman I. Z.* Mikhail Lomonosov. Life and Poetry. Jerusalem, 1988.
- Сохраненкова 1987 — *Сохраненкова М. М.* В. К. Тредиаковский как композитор. — Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1986. Л., 1987, 210—221.
- Сумароков, I—X — *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений. Ч. I — X. Изд. 2-е. М., 1787.
- Сумароков 1760 — *Сумароков А. П.* Сон. — Праздное время в пользу употребленное, 1760, II, 303—305, 316—319.
- Сумароков 1957 — *Сумароков А. П.* Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1957 [Библиотека поэта. Большая серия. Изд. 2-е].
- Сухомлинов, I—VIII — *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. Вып. I—VIII. СПб., 1874—1888.
- Тихонравов 1853 — *Тихонравов Н.* Материалы для истории русской словесности. Для биографии Ломоносова. — Москвитянин, 1853, февраль, отд. IV, 17—26.
- Топоров 1996 — *Топоров В. Н.* У истоков русского поэтического перевода. «Езда в остров любви» и «Le voyage de l'isle d' Amour» Талемана. — Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII — начало XIX века). М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, 589—635.
- Тредиаковский, РИ, I—XVI — Римская история... сочиненная г. Ролленем... а с Французского переведенная тщанием и трудами В. Тредиаковского... Т. I — XVI. СПб., 1761—1767.
- Тредиаковский 1735 — *Тредиаковский В. К.* Речь... в Санктпетербургской имп. Академии наук к членам Российского собрания, во время первого оных заседания, марта 14 дня 1735 года. СПб., 1735.
- Тредиаковский 1737 — Истинная политика знатных и благородных особ. Переведена с французского чрез В. Тредиаковского. СПб., 1737.
- Тредиаковский 1766 — Тилемахида, или Странствование Тилемаха сына Одисея описанное в составе ироическая пиимы Василием Тредиаковским... Т. I—II. СПб., 1766.
- Тредиаковский 1851 — Письмо Тредиаковского в Сенат. — Москвитянин 1851, № 11, 227—236 [июнь, кн. 1].
- Тредиаковский 1935 — *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л., 1935 [Библиотека поэта. Большая серия. 1-е изд.].
- Тредиаковский 1989 — *Vasilij Kirillovič Trediakovskij Psalter 1753.* Erstausgabe. Besorgt und kommentiert von A. Levitsky / Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1989 [Biblia Slavica / Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe unter Mitarbeit von F. Scholz. Serie III: Ostslavische Bibeln. Band 4: Russische Psalmenübersetzungen. b: Vasilij Kirillovič Trediakovskij].
- Тукалевский 1911 — *Тукалевский Вл.* Главные черты мирозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов). — 1711—1911. М. В. Ломоносов: Сб. статей под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, 13—32.

Унбегаун 1973 — *Unbegaun B. O.* Lomonosov und Luther. — *Zeitschrift für slavische Philologie*, 37 (1973), 159–171.

Успенский и Шишкин 1990 — *Успенский Б. А., Шишкин А. Б.* Третьяковский и янсенисты. — *Символ (Париж)*, 23 (1990), 105–264.

Фельпс 1951 — *Phelps N. F.* The Queen's invalid: a biography of Paul Scarron. Baltimore, 1951.

Филипп 1957 — *Philipp W.* Das Werden der Aufklärung in theologiegeschichtlicher Sicht. Göttingen, 1957.

Фрейданк 1985 — *Freydank G.* Trediakovskij und die deutsche Literatur. — *Die russische Literatur der Aufklärung (1650–1825)*/Hrsg. von H. Schmidt. Halle (Saale), 1985, 34–46.

Фрюзорге 1974 — *Frühsozorg G.* Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. Jahrhundert und in den Romanen Christian Weises. Stuttgart, 1974.

Фуко 1984 — *Foucault M.* What Is Enlightenment? — In: P. Rabinow (ed.). *The Foucault Reader*. New York, 1984, 32–50.

Фуко 1996 — *Фуко М.* Что такое автор? — *Фуко М.* Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996, 7–46.

Хелли 1978 — *Hellie R.* The Stratification of Muscovite Society: The Townsmen. — *Russian History*, 2 (1978), 119–175.

Хелли 1995 — *Hellie R.* The Great Paradox of the Seventeenth Century. The Stratification of Muscovite Society and the «Individualization» of Its High Culture, Especially Literature. — *O Rusl Studia litteraria slavica in honorem Hugh McLean* /Ed. by S. Karlinsky, J. L. Rice, B. P. Scherr. Oakland, 1995, 116–128.

Ченакал 1961 — [*Ченакал В. Л. и др.*]. Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова /Под ред. А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Ченакала. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

Черниловская и Шульгина 1986 — Описание рукописей собрания Черткова /Сост. М. М. Черниловская, Э. В. Шульгина. Новосибирск, 1986.

Шишкин 1984 — *Шишкин А. Б. В. К.* Третьяковский: годы ученья. — *Studia Slavica Hungarica*, XXX (1984), 127–145.

Шишкин 1989 — *Шишкин А. Б.* Судьба «Псалтири» Третьяковского. — В кн.: Третьяковский 1989, 519–535.

Элиас 1969 — *Elias N.* Über den Prozeß der Zivilisation. 2 Aufl. Bd. I–II. Bern und München, 1969.

Элиас 1981 — *Elias N.* Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. 5 Aufl. Darmstadt, 1981.